



Глеб Александрович ГОРЫШИН родился в 1931 году в Ленинграде. В 1954 году окончил филологический факультет Ленинградского университета. Работал в газете «Молодежь Алтая», в геологических экспедициях Кольского полуострова, Алтая, Дальнего Востока. Первая книга рассказов «Хлеб и соль» вышла в 1958 году. Автор более 30 книг и рассказов, повестей, очерков. Член Союза писателей с 1960 года. Живет в Санкт-Петербурге.

ЛУНА ЗАПУТАЛАСЬ В БЕРЕЗЕ

Записи одного лета

Шумы, деревня: четыре двора, двое ворот, одна труба!

Пословица

Как все долго живущие люди, я пережил утрату отца, матери, родных и близких друзей. И еще я увидел, как умерли две деревни; душа моя причастна к их последнему вздоху.

В середине семидесятых годов я купил избу в деревне Березове Поддорского района Новгородской области, на берегу Ловати. Деревня уже дышала на ладан. На второе лето сельского благоденствия, когда подошли ягоды-грибы, в Ловати гуляли окуни с язями, последних жихарей — бабу Катю и бабу Дуню — усадили в кабину грузовика с возом сена; долго было видно, как култыкается в заовражье копна. Это была последняя ездка; след зарос, вокруг стало тихо.

Когда я приехал спустя зиму в пустую деревню, нашел свою избу с выбитыми стеклами, сорванной дверью; русскую печь раскололи, должно быть, ломом, что-то искали; полы выворотили.

Сидя по утрам на крыльце избы, покауда деревня не померла, я записывал то, что видел и думал. Как назвать мой жанр? Не знаю... Для себя зову «записями», а для печати лучше «документальная повесть». Сложил мои записи — о последних днях деревни Березове, соседних: Раково, Осетище, Гора, Ракитино — в документальную повесть «Вниз по Ловати» — принес ее в журнал «Октябрь» Ананьеву, полагаясь на некоторые права знакомства с главным редактором «по писательской линии». Ананьев быстро прочел, заверил меня с полной ответственностью: «Это нигде не напечатают. Сейчас патриархальщина не проходит (дело было при Андропове). Так и вышло. Впоследствии «Вниз по Ловати» я включил в сборник «Весенняя охота на боровую дичь», он вышел в издательстве «Современник».

В восьмидесятом году я купил избу в деревне Нюрговичи Тихвинского района Ленинградской области, на Вепсовской возвышенности, над Капшозером. Деревня умирала замед-

ленно, в течение десяти лет. Последним из нее уехал дед Федор Иванович Торяков, вепс, 1901 года рождения. Я шел по лесной дороге, мне навстречу попался трактор с саями, груженными сеном. В кабине сидел дед Федор. Тракторист остановился, дед протянул мне руку, я ее пожал. Мы что-то сказали друг другу, но за ревом трактора ничего не услышали.

У избы деда Федора, с заколоченными окнами, сидел дедов пес Малыш — не поверил, что ушли насовсем, ночью выл, утром прибежал ко мне в избу спросить: как же так? почему? Я объяснил псу, как смог, но он не понял.

Все увиденное, передуманное за десять лет в Нюрговичах я собрал в книгу «Гора и Берег» — ее тоже выпустил «Современник».

После того как из деревни Нюрговичи съехал ее последний исконный обитатель, я нашел свою избу со взломанной дверью (за десять лет жизни никто ни разу не посягнул); в избе взяли электрический счетчик, пилу, удочку, бритву, брезентуху и, что особенно жалко, швабру — я привез сей инструмент чистоты из Ленинграда, очень ею дорожил.

В некоторых избах крестьян-вепсов поселились их новые хозяева дачники-горожане.

Живя лето в брошенной деревне, я предавался тому самому делу, которому отдал всю жизнь: записываю с природы. Тем лечился от широко распространенной нынче болезни — ипохондрии. Как увидим ниже, и вылечился.

Полдень. Жарко. Тряс сено. Читал про то, какие хорошие были Шмелев Иван и Зайцев Борис — хрустальные, прозрачные, такие раскрытые, что, кажется, их даже похоронили в незаколоченных гробах. И так они преданы были России, так сочувствовали — один Человеку из ресторана, гордой русской душе, другой — умирающему мальчику: «ножки стынут»... И я тоже сочувствую... но опустевшая деревня Нюрговичи, вновь заселенная кем-то, действует на

меня как погост. В деревне есть люди, но из нее ушла жизнь; новые лица неуместны в избе бабы Ньюши, Ивана с Марьей, Федора с бабкой Татьяной (равно как мое неприязненное лицо, может быть, кажется им неуместным — на новоселье). Терзает мою душу некошеная трава. Экое богатство! Наследство! Нам завещано. А мы не косим. Моя коса не берет вепсовскую траву, настолько трава изобильна, густа, сочна. Такая меня взяла оторопь — Господи Иисусе, спаси и помилуй!

На дворе язык на сторону от жары, а в избе знобок. Странное состояние, ни на что не могу решиться. Может быть, это от недоедания, бессонницы по ночам? Скучно мне в деревне без деда Федора, без Ивана с Марьей, без всех других-протчих дорогих моих вепсов-крестьян. Ваня зашел бы, сел на порог, сказал бы: «У нас просто». У них было просто, а все вышло наыворот, так стало сложно, хоть вой.

Ах, если бы сейчас проскакал на коне под окном Гришка Мошников, десантник Второй мировой, дымя завернутой в тихвинскую «Трудовую славу» махоркой... Мы бы с ним покурили и выпили бы и все обсудили. Деревенские все понимали, а новые ни бум-бум. У Гришки бы я разжился тремя литрами молока, а так иди на озеро по воду, гоняй чай. Скучно, так скучно, что взял бы и убежал. Но куда бежать-то? В городе еще скучнее и живот заболит от дурной воды. Здесь живот не болит, тихо, не нужны деньги, их решительно не за что отдать.

Жарко, предгрозово. Наяривают коростели. Иногда прилетают две большие вороны, садятся на крышу, ждут какой-нибудь поживы. Прибегает черная, крайне тощая, стонущая от голода собака, виляет задом, выпрашивает еды. Однако гречневую кашу не ест.

На скошенную траву садятся трясогузки, трясут хвостами; ласточки проносятся низко над землей, увидев ястребка, кобчика, тотчас на него нападают. Все уже было, все кончилось, ничто не возобновится. Скучно. Не хочется пить ловить окуней, идти за морошкой. Хочется чистого помещения, вкусной еды, доброты к себе, семейного покоя. Тихой комнаты для работы. Любви. Какой-нибудь, все равно. Ничего из этих радостей, каким были преданы Иван Шмелев с Борисом Зайцевым, не выпало мне на старости лет. Я, собственно, беглый, в бегах от самого себя. Какой я подлинный? Где мое место?

Я еще подобен больному зверю, уносящему болезнь в глухомань. Вернее, не зверю, а собаке.

Конец июля, а ночи все еще светлые, каждую ночь в северной половине неба зажигается новехонькая серповидная луна.

Вечером попил чаю с хлебом и сахаром, вышло хорошо.

Читал Б. Зайцева о Сергии Радонежском, о его пустынночестве, аскезе. Это мне близко; Нюрговичи — мое пустынночество, моя аскеза. Я думаю, в Радонеже не было таких гнусностей, как здешняя мошка.

При посадке солнца на небе разыгралась феерия: облака всех цветов и оттенков образовали движущиеся картины. Когда-то мой друг фотокорреспондент Толя Фирсов ночь напролет

бегал с ящиком, снимал. Но нельзя остановить постоянно действующую феерию облачного искусства над Вепсовской возвышенностью. Композиции облаков при посадке солнца могут быть уподоблены каким-либо предметам в реалии, но всегда облака превыше предметов, неохватимы воображением.

О Господи! Если бы не кусали комары! Смотрел бы и смотрел...

Помаленьку кошу, сушу сено. Между прочим, накосить — мужская работа — много проще, чем высушить, растрясти, распушить — собрать.

Ходил по усадьбе деда Федора — как все в прошлое лето было тут выкошено, ухожено, целесообразно, навстречу тебе и любому вошедшему распахнуто. И как все замкнулось, зачужело, заросло!

Второй раз в жизни я переживаю исход из деревни последних жихарей и последующее скорое отпадение жилиго места в небоитие — летальный исход. Это — сильное переживание, отрицательная эмоция. Жизнь не уготовила мне положительных эмоций, впрочем, таков я сам: кулинар всевозможных отрав для моего домашнего стола, то есть для душевного рациона. Поэтому мне необходима схема, аскеза, пустынь. Ну, и чтобы иногда с водочкой, с девочками. Но девочкам решительно не достичь этого места, за десять лет увидел одну мою старшую дочь Анюту; а так комары, мошки, слепни да еще неустроенные собаки. А водочка... надо сплавить на лодке в Корбеничи, выпросить у нового председателя сельсовета Юрия Михайловича талон, он даст...

Встал в шесть часов — с готовностью начал жить. Но дождь опрокинул надежду на рано начатый, разумно исполненный день.

Нащепал лучины, на поду печи, между двумя кирпичами, при открытой трубе, тяге, зажег костерок, сварил толику овсяной каши. Поскольку в челе печи темно, то установить степень сваренности никак невозможно. Вышло горячо и жидко — овсяный отвар, скорее всего некипяченный.

Ночью Луна запуталась в березе...

Всего-то одна Луна, одна береза против моего окошка на той стороне бывшей деревенской улицы; месяц двурогий, рожками вправо, запутался именно в кроне этой одной березы в туманно-белесоватую ночь.

Первый вечер без мошки. Даже нет комаров. К чему бы? Может быть, к победе фермерско-хуторского хозяйства?..

Проносятся ласточки, раздвоив хвосты, с черными спинками, в черных шапочках. Они умеют на лету кормить своих, тоже быстролетных, птенцов. Как будто реактивные истребители дозаправляются...

По утрам ласточки-сеголетки сидят на провах, подобно нотам на нотной бумаге. Можно исполнять музыку лета или ранней осени — по таким нотам.

Под вечер я видел, ласточки купались в озере. Мне могут возразить, что они ловят на поверхности воды какую-нибудь живность. Оно так, но ласточки окунаются в воду, плещутся...

Ласточки господствуют в воздухе, проносятся

ся, падают, взмывают, атакуют ястребов, свистят. Ласточкам все равно, кто обитает в избах; изба для семьи ласточек — то место, где можно прилепить собственное гнездо. Деревня брошена — ласточки торжествуют; они не кормятся из рук человека; им по-прежнему достаточно неба, мошек, воды для купанья. Когда избы рухнут, к чему же ласточки примажут свои гнезда? Этого мы не знаем, равно как и того, почему наши ласточки живут в нашей деревне Нюрговичи, а корбеничские — в Корбеничах, залетывают ли в гости друг к другу по соседству, в какие страны улетят зимовать, как найдут дорогу по весне — одни в Нюрговичи, другие в Корбеничи?

Зяблики, трясогузки постоянно потряхивают хвостами, в знак того, что они — здешние, нюрговичские. Прилетают на скошенную траву: что-то выклеивают там такое, чего не выклеивают на растущей траве. Трясут хвостиками, благодарят: «Спасибо, что скосили, нас накормили».

Вороны... собственно, две необыкновенно большие, зобастые вороны, с прорехами в крыльях — перья выдраны, может быть, в драках или выпали от возраста, как выпадает все растущее на живом... Вороны пользуются отходами человеческого бытования, пристально издали наблюдают. Иногда они вдвоем садятся на конек крыши соседней избы, в которой давно никто не живет, принимаются базарить. Вороны в Нюрговичах лесные, любят засесть в кроне рябины, ольхи, лозы, будто они тетерева, — и разораться. О чем? Может быть, так: «Вот я, Ворона, давно живу, все вижу, все знаю. А ты здесь временный посетитель, незваный гость. Я, Ворона, хозяйка!» Или еще что-нибудь; вороний язык никто не попытался перевести на наш.

Сегодня днем над ближним полем летали два ястреба, как планеры, не махая крыльями, а лежа на воздушных струях.

Когда я плывал в дальний угол озера, с косы поднялся, может быть, лунь — кто-то с большими крыльями, медлительными взмахами. Хочется, чтобы он вышел лунем. Я буду знать, что видел луня. Седой ли лунь, этого я увидеть не смог. Но что-то мне говорило: не лунь, а журавль. Так и вышло, недолго я побыл счастливецом, повидавшим луня.

Читал Бориса Зайцева. Вот человек писал прозу, чтобы воссоздать — словами, фонемами, морфемами — сущий мир, с цветами, оттенками, запахами, чтобы слова воздействовали на тебя, как поле с медоносными травами, возносили в духовную высь красоты... Тем же силен был и Бунин, но у Бунина злоба ума, а тут — растворение в красоте, песнопение, чувствительность...

Прислушайтесь, как пишет Борис Зайцев: «Хорошо в светлом лете ласточкам носиться над полями, ржам, шуметь сухим шорохом и глубокие думы думать тысячью колосьев...»

Сегодня встал в половине седьмого. Немного подумал о том, как померли папа и мама. Были хорошие люди, и так они строили свою жизнь, чтобы мне досталось пожить от их жизни. И померли безвременно, безвинно, как ветром листья сорвали...

Встал рано утром, сварил себе овсяной каши и чаю. Покошил траву, посушил сено. Выстирал в озере наволочку. Подумал о том, что пора мне приниматься за мою прозу — еще есть десять лет. Впрочем, кто знает? Кто?

Утро тихое, начало дня, каких выдается на Вепсовской возвышенности ладно если пять или десять в году. С безоблачным небом, без ветра. Может быть, сегодня сплываю на лодке в Усть-Капшу, к Ивану, моему корешу...

И, может быть, напишу поэму в прозе о пекаре из Корбеничей — каждое утро он ставит в печь хлеба, тем все и живы в округе; и хлеб мой насущный я получаю из рук корбеничского пекаря.

Из меня не может получиться удачливый ловец рыбы, а только сочинитель поэм в прозе. Благо есть подходящий герой.

На дворе зной несусветный. Помаленьку сгребая, переворачивая, трясу сено, прикармливаю собаку, посланную мне в наказание. Боже мой! Почему именно здесь, в краю вольности, дикости, одиночества вдруг поселяется семейство дачников, с малыми детьми; привезли с собою чужую собаку, у собаки щенята, — как живую игрушку. Не кормят собаку; черная, жалкая, с подтянутым животом, искривленным позвоночником, лохмотьями на ребрах. Эта собака неотступно смотрит на меня малахольными желтыми глазами, плачет от голода. Боже мой! Собачий взор все время укоряет меня, выражает неверие в меня — человека — и надежду и отчаяние. Почему так? Откуда пришли эти люди, со своей твердой решимостью взять свое, не упустить? Почему они не кормят собаку — кормящую мать? Я оказываюсь в роли обвиняемого — за чужую вину. Меня обвиняет чья-то обманутая собака, я переживаю вину как мою.

Вечером читал импрессионистическую прозу Бориса Зайцева. Вот это и есть беллетристика высшего полета, без какого-либо общественого нерва, без политической лихорадочности. Но сильно действующая и благотворно. Такую прозу у нас упразднили. Вот разве что был Паустовский, но у него клюквенный морс, подслащенный, а здесь все самые сильные средства и не токсичные, как в народной медицине. И сколько недоговоренностей! И договаривать-то не надо!

Вечер. В конце самого безоблачного дня, когда можно было досушить, сложить в копы сено, посреди ясного неба вдруг выказала кукиш мерзкая тучонка, расплевалась скверным, холодным дождем, все вымочила; завтра опять распускать, сушить.

Был в лесу. Со мною пошел в лес мой приبلудный пес — и никакого попрошайничанья, лебезенья, искривленья хребта. Пес пошел со мной в лес, но занялся собственной страстью — облаивал белок и глухарей. Так у меня оказался охотничий друг — мой Пес.

Несколько слов о Дарике — фокстерьере Игоря Большакова, егера с того берега. Дарик — англичанин; в конструкции его морды, лап, ушей есть нечто четвероугольное. У Дарика нет признаков дурных инстинктов, какие sneдают русских собак, будь то лайки, гончие, дворняги. Дарик укромен, не выставляет себя на

общее внимание. Он любит сладкое, считает вправе получить кусок печенья, пряника. Сидит, смотрит, ждет, не проявляя нетерпения.

Дарик кучеряв, с маловыразительными, но внимательными, как у англичан, глазами.

Мы поехали за морошкой на моторке, высадились в углу озера, морошки не нашли (еще рано), повернули обратно. Дарик решил по-своему, что-то учуял; до него донесли запахи птицы, зверя. Сколько мы ни звали Дарика, он остался один в лесу, предался тому, чему предназначен природой: разнохиванию следов.

— Дарик — наркоман, — сказал его хозяин. — Он всяких волнующих запахов нанохает — это для него высший кайф.

Маленький, довольно тихиходный Дарик не мог кого-либо догнать, поймать, пожить — в веповской тайге. Его же мог схарчить медведь, волк, поддеть клыком кабан... Мы приплыли домой, вскоре явился Дарик, совершенно мокрый, невозмутимый, без признаков волнения, потребовал себе пряника.

О новом председателе сельсовета в Корбеничах, Юрии Михайловиче Домрачеве, я пока не могу написать поэму в прозе, даже нет слов для портрета. У него какая-то путаная предыстория, то есть путано им изложенная. В его рассказе о себе отчетливо прозвучало одно: «Высшее образование у меня не закончено». Из пунктов программы-максимум, то есть из длинного монолога председателя сельсовета Домрачева, запало на память вот это: «Школу будем строить современную, с бассейном и теннисными кортами...» Я неуверенно возразил, что для начала хватит одного корта. Председатель с ходу отверг преуменьшение плана: «Строить — так на всю катушку!» Наладить в Нюрговичах электричество председатель не пообещал, этого он не может.

Сидя в совершенно пустой конторе сельсовета в Корбеничах, с глазу на глаз с новым председателем леворадикальной направленности, я как будто оказался в атмосфере романа Андрея Платонова «Чевенгур», то есть в утопии с противоположным знаком: там рай на земле представлялся социалистическим раем, а здесь напротив...

Однако новому председателю в Корбеничах нравится слово «план», как нравилось оно всем председателям все семьдесят лет строительства коммунизма. «Составим план, с участием социологов, журналистов, кинематографистов, создадим фильм, у меня уже есть договоренность. Вся территорию приватизируем...»

Я выдвинул свой встречный план: «Дайте мне, Юрий Михайлович, хорошую косу и бабу, чтобы сеничала; я за десять дней всю траву выкошу, стога сметаю...» Председатель тотчас смекнул, в чем подтекст моего плана. «Если вам дать бабу, вы и косить не будете, а только...» Я заверил председателя, что мои года не те, не те!

Каждый прожитый день здесь, в тайге, что-то изменяет во мне, учит терпению, восторгу перед красотой, все время понуждает к первоначаль-

ным трудам: добыть огонь, сварить пищу, накосить сена, выстирать белье, поймать рыбу, сходить в лес по грибы-ягоды... Природа воздействует на тебя, происходит сближение. Полное слияние с природой было у местных: у Ивана, его жены Марьи, деда Федора. Иван мог весь Божий день отмахать косой, без каких-либо признаков усталости, угрюмства, похвальбы, как кузнечик в траве. До этого я не дойду, но терпение вырабатывается, устойчивость перед тоской. Я не знаю более страшной тоски, чем в городе, особенно летом.

И вот я в деревне, пишу свои вирши... Живется... довольно-таки тяжело. Но накапливается в душе благодарность за каждый день.

Сколько написано русскими писателями о счастливым детстве мальчика в барском доме, в усадьбе, при слугах, с охотничьим ружьем — отцовским подарком, при отцовском мужестве, материнской любви-ласке, с теплом печей рано по утрам, объятиями с дворовой Аграфеной на покосе, с прокатыванием по снежным разностям в санях, со Святками, ряжеными, наливами, влюбленностями...

Все это составляет добрую половину русской литературы прошлого и самого начала нашего века. Ладно, что не читано простым народом, лишенным такого блага. Однако ненависть-зависть, окрещенная социальной несправедливостью, просочилась; пришло время — заплыла красными петухами над помещичьими усадьбами....

Читаю «Зарю» Бориса Зайцева, доверяюсь предлагаемым автором чистым радостям детства — и все время ловлю себя на том, что все это ложно, несправедливо, низвергнуто — досконально. Меня воспитали другая жизнь, другая литература. Из нашего обихода, из нравственного опыта, из понятия, что есть добро, что прекрасно, — ушли семейное детство, поэзия и великая защита ото всего худого родительского дома. На пустом месте проросли ненависть и тоска.

Сию в избе, в три окна, вижу луг, зеленые кусты, копну сена, воду озера, бледнопалевое небо. Половина десятого вечера. Стенело. Горит свеча. Читаю Бориса Зайцева: «Внизу играет на роале гувернантка Софья Ивановна. Жена представляет себе ее милую фигуру — с большими музыкальными руками, запахом духов, и ее музыка еще прекрасней...»

Я тоже пишу о том, что стучится... в окошко моей души:

В деревне не стало скворцов —
Скворечники пустопорожни.
Прискорбно в конце-то концов...
Но будем в словах осторожны.
В деревне не стало крестьян,
С зарей затопляющих печи;
В полях воцарился изъян —
Зажжем поминальные свечи!

Думал о тоске. Тоска — необходимый этап самопознания; смолоду поглощается мечтательностью... Здесь, у вепсов, тоска переживается молчанием, не с кем поговорить. Молчание столь же полезно, как некурение, трезвенность. Разговаривать лучше всего с цело-

веком, равным тебе по уму или превосходящим тебя, но слушающим, ибо ум в том, чтобы им не кичиться.

Сходил в лес, набрал морошки. Грело солнце, задул северный ветер. Ко мне приходил полюболюбивший меня отъездивший черный пес. Я сварил из морошки и земляники компоту, с превеликим наслаждением похлебал. Подумал, что, живя в деревне, все более опрощаюсь. Вернусь в город, что поделаю с опрощением? Надо с этим поосторожнее.

Зашел к Полковнику, живущему в двух километрах от меня, на Берегу. Полковник был погружен в думу, которой тотчас поделился со мной:

— Мы когда стояли под Сталинградом, он же нас, как тварей каких-нибудь, поодиночке уничтожал, как зайцев. Самолеты его на колесах по нашим головам ходили, баллоны, бочки с бензином на нас сбрасывали, а один раз — вот клянусь! — бочку с дерьмом... А нам — чем ответить? Мы насмерть стояли — и всё! У меня во взводе управления мальчишку ранило в ногу. Ну, тогда такие раны всерьез не принимали. Смотрю, у парнишки ногу разнесло: стало, вроде как гангрена... Я другому говорю: «Отведи в медсанбат». Он повел, возвращается. «Ну что, свел?» — «Да нет, его убил».— «Как так? Ведь всё же в тыл пошло».— «А он у нас по головам колесами, «мессер», и летчик в него ручной гранатой...» Понимаете? На какой грани мы тогда стояли?! Чем бы мы стать могли!?

А к моему сыну его товарищи приходят и вот рассуждают: «Коммунистов всех на эшафот». Я — коммунист, из партии выходить не собираюсь. Я им говорю: «Да вы знаете, что было бы, если бы мы в 42-м году не стояли? Мы, коммунисты?! Кем бы вы были сейчас? Вы бы сортиры чистили немецким господам».

Я под Сталинградом командовал артиллерийским дивизионом. Немцев мы ой-ё-ёй сколько перебили! Да! И вот живем. Мы — Россия. Я хочу, чтобы России хорошо было. Тогда и мне хорошо.

Кончилось томление в природе. Два дня дует северо-восток. По всему небу плывут кучевые облака, белые, иногда темные, лохматые, но без дождя тучки, с голубыми просветами для солнца. День ведренный, без докучного зноя. Переломило на осень. Вода в озере оцепенела; дует ветер, но незаметно даже ряби; вода — ровно-сизая, неподвижная, остыла, потяжелела.

Утром ко мне прибежала моя собака, стащила с бочки два куска хлеба, намазанные маслом, — мне на завтрак. Масло слизала, хлеб бросила. Когда я вышел, пес принялся изгибаться, подобострастничать. Я ему сделал выговор.

Замечательно, что начинается осень.

Вчера питерские умельцы Валентин и Лева, купившие в нашей брошенной деревне по избе, восстановили в Нюрговичах электричество. Валентин надел на ноги когти, залез последовательно на три столба, на каждом из столбов что-то открутил и прикрутил. Иногда он ронял из рук плоскогубцы, но у него была специальная для такого случая привязана к руке верев-

ка. Лева на этой веревке отправлял плоскогубцы обратно наверх Валентину.

В моей избе Валентину с Левой пришлось произвести отдельную операцию. Счетчик у меня унесли лихие люди, провод перегорел. Валентин с Левой притащили лестницу. Оба рисковали жизнью, ибо напряжение — высокое. Жена Левы Таня пыталась остановить мужа. Молча стояли внизу малые Левины дети и их подруга Машенька. Лева всем объяснил, что в резиновых сапогах не опасно, без заземления электричество не убьет.

Свет зажегся, все осветилось лампочкой Ильича. Валентин почему-то сказал, что высшее образование не закончил в силу серьезных причин, но считает себя интеллигентом.

На электрической плитке я сварил кастрюлю гороховой тюрки, вышло шибко вкусно. Вечером истопил печку, стал совершенно счастливым.

Читал Бориса Зайцева, думал, что революция была совершенно необходима; описанные Зайцевым персонажи сами по себе подлежали какому-либо исчезновению. У Зайцева они один за другим красиво умирают, разумеется, без политической подоплеки. Писатель предчувствует, что его персонажи должны сойти с арены действительной жизни, он им помогает сойти, но не знает, какие станут на их место. Следовало все это ускорить, обновить состав действующих лиц; данный состав себя изжил...

В нашей исторической публицистике как-то проглянула гипотеза, что русская литература прошлого, начала нашего века, ведущую тенденцию которой как бы закругуляет Борис Зайцев, изображала не тех людей, не ту страну, не ту историю, каковые имели — или впрямь были иметь — место в действительности, тем самым провоцируя ход истории, то есть формируя фиктивное общественное мнение, подказывая какому-либо диктатору-авантюристу образ действия, ну, например, Гитлеру, а ранее, возможно, Ленину.

Были другие лица в истории России, вполне в национальном духе, с практическим умом и положительной программой, но оказались незамеченными или шаржированными литературой. Был шанс у страны ступить на общечеловеческий путь самоуважения и благоденствия, но им пренебрегли как подвохом. Литература спровоцировала ход событий, результат коего совершенно ужасен, и для писателей тоже, — какое-то кровавое фиаско, скверный анекдот. Такова гипотеза одного из наших исторических публицистов, вовремя скрывшегося за бугор. Речь идет о классической литературе, а ежели подступиться с таким вердиктом к советской? От нее только ключья полетят. Сами-то писатели сообразили хоть раз, что они написали?

Ночью шел дождь, с утра поливало, к полудню на небе заголубело. Думал, что, оказавшись здесь мои — давно покойные — друзья: Виктор Головинский, Виктор Курочкин — они бы ловили щук на жерлицы, на спиннинг, достигли бы первенства в этом деле среди прочих ловцов. Так же и занятия литературой требуют азарта, стремления к первенству.

Все это бесконечно скучно.

В последнем плавании за озеро я повидал, пережил ряд концовок когда-то при мне завязавшихся сюжетов. То есть сюжетов не было, а просто жизненные истории, с вложенными в них плотью и кровью человеческих судеб, ну и... государственных средств.

Новоладожский рыболовецкий колхоз имени Калинина, понимая, что Ладога — сточная яма и рыбе в ней не живать, строил форелевое хозяйство в Усть-Капше. Прорубили в тайге просеку, насыпали дорогу, вырыли пруды, подвели к ним стальную трубу большого диаметра — для забора воды из Капшозера. Поставили пилораму, напилили бруса, досок, выстроили цеха для инкубации молоди форели из икры, для начального выгула и всего последующего, возвели кормокухню, к ней котельную-кочегарку.

Я видел все это грандиозное хозяйство доведенным до того уровня, когда душа переполнялась гордостью и надеждой. Талантлив, уверен, дерзок на выдумку наш человек — экое отгрохал! Я помню, показывал мне Доркичев, местного озровичский вепс, глава хозяйства — он же был и прорабом, — как играет форель в садках. Не играет, а волнуется от звука шагов, ожидает кормежки. И так легко, гладко считались круглые цифры близкого, несомненного дохода от форели. И так безмятежны были лица форелеводов, особенно моего друга Ивана, сторожа садков, переехавшего с женой Марьей из Нюрговичей в Усть-Капшу, отстроившегося здесь, посадившего огород, накопившего сена корове Майе с бычком и овцами. Иван курил «овальные» сигареты «Стрела», поплеывал на все текущие вокруг события с высокого дерева: все в дому у него было свое, зарплата сторожа его устраивала. Вечный дурачок — и хитрован-проньера, и мастер-золотые руки — Ванюшка оказался при месте, при деле, при форели. И другие форелеводы тоже ладно устроили свои житейские дела. Хотя никто из них понятия не имел, что такое форель, в чем искус форелеводства; на то был прислан рыбовод.

Форелевое хозяйство давало вепсовской деревне Усть-Капше шанс сохраниться, выжить, да и соседним деревням тоже: Озровичам, Корбеничам, Харагеничам, может быть, и нашим заозерным Нюрговичам (от Усть-Капши до Нюрговичей по Капшозеру километров пятьдесят). У Николая Николаевича Доркичева, как я знаю его, цель, мечта жизни — дать здешним вепсам возможность остаться здешними, не уйти, чтобы у них было поле для деятельности, рабочее место. И вот оно, сбилось, построено, река Капша журчит, рыба играет. Лицо у Доркичева такое счастливое, осунулось от счастья, только глаза голубеют, как ламбушки в солнечный день.

Я, помню, тогда подарил библиотечку из прочитанных мною книг в дежурную избу при форелевых прудах, полагая, что дежурящие, охраняющие рыбу, кормящие ее вепсы будут читать и набираться ума, как я сам набрался, из этих же книг. Не знаю, куда его нынче девать, умишко...

Форель в Усть-Капше сдохла летом 1988 года; говорили, что жарко, вода в садках пере-

грелась, говорили также, что протух на жаре корм, а его все равно дали рыбе, она и всплыла кверху брюхом. Может, так, а может, не так. Форель в реке Капше, местная, не сдохла, а привезенная за тридцать земель сдохла.

В то лето я ехал из города к себе в деревню, завернул в Новую Ладогу к Алексею Николаевичу Суханову, бывшему председателю колхоза; он и начинал строить пруды в Усть-Капше и еще во многих местах... Суханов поехал со мной к вепсам. Я помалкиваю за рулем, дед рассказывает, что было, как вышло, и так ему хочется свести сальдо с бульдо, а не сходится. Приехали в Усть-Капшу, форелеводы сошлись в кружок, с опущенными головами — и сказать нечего. Суханов вместе со всеми попереживал, попенял, впрочем, без укора:

— Надо было холодильники завезти, соль иметь в запасе. До Тихвина довели бы и продали за милую душу. Знаете, что новгородец в старые времена брал с собой в первую голову, когда отправлялся в Ильмень рыбачить? Кадушку со льдом и мешок соли.

Ободрил как в воду опущенных капшозерских мужиков:

— На ошибки учатся;

— Шибка — первоначальная, роковая, глобальная — как хочешь ее назови, Создателем для нас запрограммированная или еще кем внедренная в порядке катаклизма... присутствует в самой почве, атмосфере нашего обитания, рубит на корню любое, самое благоразумное предприятие. В большом, глубоководном, без какой-либо деятельности по берегам, совершенно чистом Капшозере (одна моторка на все озеро у охотника Володи Жихарева, и та стоит: нет бензина) не так давно лавливали лосося, судака, леща, рипуса, а нынче едва поймаешь окунька. Каких кислот, сколько, откуда, из чьих труб, при каких ветрах... должно пролиться на лоно воды, дабы сгнула рыба? Сие никому не известно. Поправлять изначальную ошибку желающих нет.

Летом 90-го года иду по кладбищу надежд, руинам форелевого хозяйства в Усть-Капше. Все покрылось мерзостью запустения. Вот дровишки, приготовленные для топки кормокухни, так ни разу и не зажженной; дровишки заплесневели. Заглядываю в полузабитые, полувыбитые окна цехов-павильонов, там свалены в кучу ванны и трубы. Самы пруды пересохли, превратились в безобразные ямы. Та изба, в которой должны быть разложены на столе презентованные мною книги, отчасти забита, отчасти повалена, растащена по бревну.

Руины купил за бесценку директор совхоза «Пашозерского» Соболев, собирается напустить в ямы воды, выращивать раков, пойманных в Капше, продавать капшинских раков в Париже, никак не ближе. По мелочам у нас не размениваются.

Мой приятель Ванюшка, сторожащий то, чего нет, за ту же самую зарплату, покуривает, поплеывает, посмеивается: «А нам все равно».

Однажды, помню, еще в деревне кое-кто жил из стариков, Иван с Марьей, коровой Майей... сидел я на пороге бани, с утра мной

истопленной по-черному, к обеду готовой — хоть до вечера парься. Баня стариков Цветковых, деда Миши и бабы Анны, выстроена посередине угора, на спуске от деревни к озеру (верхняя часть деревни Нюрговичи называется Гора, по-вепски Сельга; нижняя часть — Берег, Ранта)... Как Цветковы уехали из деревни в Пашозеро, им там дали комнату в блочном доме, так в бане кто-то выворотил котел. Знают кто, но... что с возу упало, то попало. В пашозерских апартаментах у Цветковых ванна. Да, так вот, сидел я на пороге цветковской бани, с еще не вывороченным котлом, после очередного биянья себя веником в жгу-чем, пару, после погружения в озерную ознобу... и вижу, идут трое мужиков, все низкоросленькие, кубоватенькие. Одного я узнал: Михаил Михайлович Соболев, двух других мне Соболев представил: главный зоотехник, парторг. Самое высшее начальство пожаловало. Я предложил мужикам то, чем богат, жару в каминке, пару на полке, в истопленной по-черному, с черными стенами, потолком, полком вепсовской бани. Мужикам, видно было, хотелось попариться, но отказались, сославшись на то, что им еще по грибы. Ну, ладно. Я ополоснулся, оделся, привел всех в мою избу. Соболев озираясь, поеживался:

— Я бы не смог жить в таких условиях.

Ему тогда еще и тридцати не было. Он приехал или прислан, вызван откуда-то из западных областей, по комсомольской или по партийной линии, не знаю как, почему. До него директорствовал в «Пашозерском» Капризов, откуда-то с востока затребованный. Местного вепса на руководящую должность не поставят, нет прецедента, это уж точно! Юрий Михайлович Домрачев, новый председатель сельсовета в Корбеничах, и тот питерский. Правда, его-то выбрали сами вепсы, на демократической волне, чем-то он вепсам поглянулся.

В итоге нашего короткого чаепития Соболев — хозяин всей этой местности, землевладелец, работодатель, — высказал главное, с чем пришел:

— Этой деревне конец. Ее больше не будет.

Я возразил:

— Почему же, Михаил Михайлович? Когда я сюда приехал, деревня живая была. И скотный двор — ваш совхозный, еще новехонький. А какие здесь травы! Все выкашивали, да и сейчас старики вкальвают, вашим совхозным и не снилось...

— Нет, с этой деревней кончено! — заявил Соболев как отрубил.

Такая ему была установка из Тихвина, или брал на себя решать за других молодой директор совхоза... Но стариков всех выманил из Нюрговичей в каменные коробки в Пашозеро. А куда им было деваться — без магазина, без дороги?

Последних — деда Федора с бабой Таней Торжковых — Соболев вывез в Корбеничи, там нежилую избу привел для них в божеский вид... Федор Иванович Торжков, пройдя войну от реки Капши до реки Эльбы солдатом, стал председателем колхоза в Нюрговичах, при нем вепсы жили не тужили до укрупнения. Жизнь Федора Ивановича Торжкова описана

мною в повести «Гора и Берег»... Ивану Теляшеву Соболев разрешил содрать с совхозного скотного двора шифер — на кровлю в новой избе, в Усть-Капше. Избы, сданные нюрговичскими аборигенами на совхозный баланс в обмен на квадратные метры в каменных коробках, продал тотчас, как только вышел указ, разрешающий продавать-покупать дома в сельской местности. Сам выбрал, кому продать, не знаю, по какому признаку. Дети, внуки исконных нюрговичских жителей оказались капитально отлученными от родовых жилищ.

Вот как оно вышло. Если была установка директору совхоза, то он ее выполнил неукоснительно. Даже мне предложил купить избу вблизи Пашозера: «Переезжайте поближе к людям. С этой деревней — все!» Так что деревня Нюрговичи не брошенная, а планомерно упраздненная.

На дворе холодно, мокро, хмуро. Прошел Божий человек Дима, из Питера, в Нойдалу, с велосипедом. Помогал что-то пасторальное на ивовой дудочке-свирели. 2 августа в Нойдале Илья — престольный праздник. Нойдала тоже пустая, прошел слух, что в ней обосновался фермер из Питера, с трактором. И еще в Нойдале почему-то гуртятся Божии люди.

Вдруг вышло, что моя деревня превратилась в дачную местность типа Комарова. Вякают дети, прохаживаются по некошеной траве обросшие клочковатыми, как собачья шерсть, бородами мужчины, сразу видно, что... демократы; курящие, что-то очень важное говорящие друг дружке женщины в брюках. Почему дачная зона переместилась в Нюрговичи? Я был один дачник в деревне, а стали все. Из общей картины жизни выпало главное действующее лицо — крестьянин: Иван, Федор, Николай, Михаил; крестьянка: Мария, Анна, Зоя, Елена, Татьяна...

Встал в шесть утра. Тепло, безветренно, сыро, туманно, промозгло. Сразу уловил, что замолчали коростели. Весь июль отскрипели — и амба. Кто из пишущей братии не слыхивал, тем придется удивляться отзвуком коростелиного скрипа в русской классической литературе или подклассической, в золотом или серебряном ее веке, от Аксакова до Зайцева и Шмелева. Да... У Зайцева коростели больше скрипят, чем у Шмелева. А правда, умолкли — и пропал один звук мира, дающий уху надежду: что-то там такое есть, в траве колошится, поскрипывает. То есть не уху дает надежду, а всему инструменту, настроенному на жизнь. Но это, собственно, все равно.

Походил с косой по горшке. Косить нечего; вся поженка, вся нагорная луговина залиловела бодяками, осотом. Кипрей тоже залиловел, зарозовел. Луг остался нескошенным, траву осилили репьяки.

Утром на копну моего сена не прилетела трясогузка, видимо, еще не проснулась, позже прилетит, поклоняется, потрясет хвостиком, скажет: «Доброе утро!»

Две вороны сидят на крыше соседней избы. Ее купил в одно со мной время мой старый товарищ, собиратель фольклора Владимир Соло-

монович Бахтин. Разок-другой-третий побывал — и захряс в нашем, общем с ним, каменном граде. Старость не радость, нет бывлой легкости на подъем, и надо сборник составить... А минуло десять лет. Изба Соломоныча прохудилась, скособочилась. Ау, Соломоныч, где ты, друг мой сердешный?.. Одна ворона села на железную трубу, другая на тесовую обомшлую крышу. Две вороны и есть в деревне Нюрговичи, остались от старой жизни. Вороны по-крестьянски рачительные, прижимистые, приглядывают, где бы не пропало лишнего куска. Несут санитарную службу: кто что выкинул съедобное, надо учесть, оприходовать, прибрать.

Принес колья — остожье — еловые, ольховые, на них держались Ивановы стога сена. Простояв нынче лето отдельно в просторе, солнечном мареве, колья хорошо высохли, до звонкости. Я распилил их ножовкой, с одной спички зажег огонь в печи, не столько для тепла, как для имиджа камина. Можно сказать: эффекта камина. Тоже заморское слово. Я думаю, никто из вепсов не подходил к печи с этой стороны: как она удовлетворяет потребность человека в каминном имидже-эффекте, то есть чтобы отстраненно глядеть на огонь, слушать потрескивание поленьев, следить безотчетно за игрой пламени, осязая посылы тепла. В русскую печку бабы лезут с ухватками, чугунами, им не до каминного эффекта, но в глубине чела, в потемках дыма, чада воздымает языки чистое, незаслоненное пламя, калятся добела уголья — горит очаг, камин...

Затопленная русская печь послужила мне камином, полегчало на моей отягченной душе, хотя по-прежнему томительно голоден желудок. (Поляки говорят: глондный жлондок.)

Два часа дня. Истопил две русские печки, у себя и в избе Соломоныча, чтобы изба отогрелась. Думал о том, что семья без любви как изба с давно нетопленной печкой. Впрочем... Жил попеременке в двух избах, пахло дымом. Полного тепла не достиг ни там, ни там, дрова были плохи, я скарденчал, мелочился на дровишки. С полудня похолодало, однако солнышко несколько раз достигало меня.

Вчера ходил в ближний бор на прогулку. Почему-то, едва вошел в лес, мой Леший-левосик сбил меня с панталыку, принялся тыкать мордой в кусты, хлысты, хвощи, ляги, чапыгу, валежник. С полчасца погонял для чего-то, пока я стал в след. Кстати, описывая этот эпизод, я позволил себе звание Леший поставить с маленькой буквы, но тотчас исправил, знаю: так нельзя...

Ну, а потом — роскошная прогулка в чистом бору, в полном одиночестве, при полном букете приятностей. И Леший, наигравшись со мною, насыпал мне в чудном месте спелой янтарной морошки. Как вдруг нашлось это место? Тут уж подарок, точно: не было ничего — и на тебе плантацию морошки! Сам собою напросился вывод: морошка в приходеж не растет, а только в лучших апартаментах леса. Морошечник — листья на кочках — можно увидеть всюду, где зачавкает под ногой, а яго-

ды нет. Моя морошка явилась мне вблизи чистого бора, где, бывало, являлись боровики, полным-полно глухарей-рябчиков, кое-где у муравейников сохранились ставленные Иваном на боровую дичь, давным-давно спущенные силки; молодая елочка остругана, напряжена, под нею гроздь калины на приманку... Рябчик-глухарь сунется, тронет, елочка сработает, петля затянется на шею. Иван говаривал, десятками брали, и дед Федор... А как же: жить в тайге да без дичи?! Спустился из беломошной боровины в нижний ярус бора, в сосновое редколесье, с увлажненными затравешшими кочками, черничниками, голубичниками — может быть, это заросшая вырубка или прогал в боровине. Место невеликое, в нем морошки полно; морошковый огород. Подумал, что собирать морошку, как всякую ягоду, а в свое время и рожь жать серпом в наклон — бабья работа... Хотя и мужики у нас на Вепсовщине горазды ягоду брать. Однажды мы с дедом Федором переплыли в лодке на ту сторону озера, вздынулись без тропы в крутой берег, заросший малиной, крапивой, дальше ельниками, березниками, ольшаниками, вышли на старую вырубку с поспевшей ало-бордовой брусничкой. Дед-то знал, а больше никто... Я надоил лукошко, дед ведро. Я ему говорю: «Ну что, Федор Иванович, может быть, хватит?» А он мне: «Да знаешь, Глеб Александрович, я бы ишо побрал, у меня в мешке посудина припасена». Да так и не оторвался, на колени ни разу не опустился, а всё в три погребели, пока второе ведро не наполнил, в девяносто-то лет. Я прохладился, пробавлялся даровым угощением, а дед Федор крестьянствовал, собирал урожай.

Сегодня выгребал из пазухи дымохода сажу, вытащил мертвую ворону. Зимой забралась в трубу от стужи и провалилась почти до самой топки, но почему-то не сгорела.

Полдень. Пасмурно, холодно на дворе. Ходил по самому лучшему месту в деревне — моему подворью, высоко над озером, выкошенному, со скамьей и перевернутой бочкой-столом. Можно бочку положить на бочок, залезть в нее и заделаться Диогеном. Впрочем, Диоген Синопский (в древней Греции было еще два Диогена) жил подаяниями сочувствующих, здесь никто не посочувствует, никто не подаст. Диоген Синопский, живя в бочке на подаяния, проповедовал спячность с природой — в этом он прав, молодец. Ходил, думал: «Вдруг я умру, почему бы и нет? Вот здесь умру, сгину, хватятся много спустя, после повспоминают: да, был папа, жалко... И все пройдет, уйдет в землю, как дождевая вода. Был Горышин, закончил свои дни в брошенной деревне, значит, и себя обрек на брошенность. Ведь предлагали: переезжай ближе к нам, еще жил бы и жил...»

С утра стояла в атмосфере полная мга. Небо нависало одной серой ватой. А вот и голубизна, и облака, названные кучевыми, но неудачно: какие же кучи, помилуй Бог? Облака — контурные, изобразительные движущиеся картины, силуэты, композиции...

Вечер. Завтра настанет август. Каковы признаки перехода из июля в август? Ну да, замолчали коростели. Поплыли туманы. Собственно, не поплыли, а косынками, полшалками прилегли на ярусах зеленых берегов Большого озера. Мошка поунылась, нет, не сошла, но полегчало. Воцарилось успокоение, зеркальность вод. Сегодня в половине восьмого утра озеро было абсолютно зеркальным; лес отобразился в зеркально-лаковом лоне вод весь, до маковок осин.

Утром проехал на мотоцикле Валерка Вихров, последний вепс, с Берега, нашел в дальних борах два боровика — важный знак августа, время грибов, то есть первый сигнал, посул. Теперь преобладающей станет тема грибов. Моршковая тема исчерпана. Ну-с...

Утром ходил в лес, видел паутинки — визитные карточки осени.

Да, и еще что важно: в избу пришли мыши. Я полагал, что мыши, но ближе к истине — крысы. Черные травяные крысы, средних величин, на долгих ножках, вострозубые — прогрызли мою избу; непочтительные: по ночам ходят, стучат, возятся, без внимания к хозяину.

Сейчас десять часов утра. Сажу над озером на скамейке у бочки. Рядом лежит на траве моя собака. Увидела, на меня примостился овод, нацелилась — а! — зубами клацнула, проглотила не разжевывая. Посмотрела на меня: какова я? Я сказал: «Молодчина, подруга, так держать!» Поймал слепня, скормил его подруге. Тоже пища, другого, собственно, ничего и нет.

1 августа — Макрида... Вепсы, бывало, упреждали: «На Макриду задождит, то и вся осень мокрая». День выстоял без дождя. Утром ходил в лес, косил траву, тряс сено. Удил окуней для пса. Плавал на речку Геную, едва закинул уд, как оторвался крючок. Крючок осталось всего три, я или дорожу, про запас не беру.

Перекинулись несколькими словами с идущим мимо кооператором Андреем... Андрей приезжал сюда не будучи кооператором, будучи мастером спорта по плаванию, микеланджеловским Давидом по стати. Он знал точки на человеческом теле, чтобы нажатием на оные изгонять болести. Меня однажды прихватил радикулит, Андрей взялся меня лечить, предупредил: «Приготовьтесь, будет больно». Я приготовился, он надавил сильным пальцем на боль, я пережил удар боли, встал с топчана выздоровевший, хоть в Пашозеро на танцы беги.

Как занесло Андрея на Вепсовщину, не знаю, но знаю, что здешний Хозяин шепнул ему на ухо: «Будь здесь». Лучшее места тебе не будет». Это категорическое приглашение-наставление здешнего Хозяина остается в тебе надолго, может быть, навсегда. Мне он тоже шепнул, надо думать, и Соломонычу, и тем, кто поселился в Нюрговичах сей год. Хозяин внулши всем нам простую самоочевидную истину: лучше этого места не может быть, ибо оно единственное — ничье; другие все места заняты. Бери, пока не поздно; станет твоим. Ему поверили, по его и вышло.

Андрей с тоже молодым городским мужем Сергеем купили избу в Нюрговичах, зарегистрировали кооператив «Сельга», что дало им возможность... ну да, на законном основа-

нии. Андрей мне говорил, что вначале они с Сергеем намеревались выращивать бычков, но что-то у них не получилось с Соболем. В документе с печатью, мне дали его почитать, записано, что кооператив «Сельга» занимается изготовлением художественных изделий из местных материалов. Я видел в сенях избы кооператоров нанесенные из лесу корневища, коряжины, мутовки. Мне показали и вырезанные из ракушек камни, с выгравированными по трафарету профилями царственных особ. Понятно, что камни, произведенные кооперативом «Сельга», не пользуются спросом у местного населения, их везут сбывать в город. Впрочем, много ли навытачиваешь камней, особенно в зиму, без света, без движимого током сверла, в лантаной-перелатаной, продуваемой ветрами избе? А зимуют... И две собаки у Андрея с Сергеем — здешних кровей, но воспитанные в строгости, к чужой ноге не идущие, грозно облаивающие редкого прохожего, скажем, Божьего человека Диму... Да и меня... После придут вилять хвостами, ввиниться. «Мы знаем, любим тебя, но пойми и нас, такая наша служба, так нас натаскали». Обе собаки у кооператоров кобели, имена им присвоены по высшему международному разряду: Рэмбо и Данди. В них проснется простое, собачье, кобелиное, увяжутся за моей сучонкой, и тотчас по всей деревне над хорошо резонирующим озером раздастся медногослый рык Андрея: «Рэмбо! Данди! Назад! Ко мне!» Псы вспомнят, что они Рэмбо и Данди, а не какие-нибудь там Матрос и Мальш,— и опрометью к хозяину.

Про наших кооператоров Андрея и Сергея в округе ходит молва, что они ловят жемчуг в вепсовских реках, в старину, правда, жемчужных, как и во всей Новгородчине, а нынче бог знает. Щук они насобачились ловить, и тот, и другой (с ними еще был третий, но не выдержал, утек); Сергей мне говорил: в Корбеничи за хлебом поплывет, туда шесть щук поймает и обратно не меньше. Андрей даже называл цифру семь щук — столько в один конец и в другой тоже...

Андрей похож... на вавилонского царя Навуходносора, разрушившего Израиль. Солнце накалило его бледнокожее с веснушками лицо до цвета начищенной меди. На медном лице бронзово-рыжая борода и холодно-голубые глаза. Колонна шеи... Как вижу Андрея, тотчас вспоминаю этого царя — вот таким он мог быть.

Идуци в лес через мою горушку, как всегда в армейском, в галифе, гимнастерке, кирзачах, Андрей наставительно мне сказал:

— Жить надо сегодня так, как нравится. Ничего другого потом не будет.

Мне показалось странным выслушивать нотацию от человека вдвое младше меня. Но я с ним согласился: ну что же, хочешь и живи. Думал я совсем о другом, как прожить этот день — Божий дар. Моей воли для этого мало, моя воля ничего не решит; воля Божья — дать мне его или отнять у меня. Первый день августа проливается божественным нектаром. Все, что вижу, осязаю, ощущаю, доставляет высшее наслаждение — и ничего не стоит, даром. Я вошел в гармонию с образом жизни. Надолго ли? И почему так печальна душа? По-

чему по ночам нет сна, култыхается сердце?

Сегодня на небе перистые облака. Но, признаться, и перьев не видеть. Облачность с промоянами голубого неба, с нахмуренными лохматостями, с блуждающими облачками.

Совершенно особенные вечерние закатные облака с их продолговатостью, похожестью на больших рыб или на астероиды, с их лиловостью, багрянностью, озаренностью, направленностью в то место, куда сядет солнце.

Но до вечера еще целый день, подаренный мне Господом Богом. Надо совсем отойти от долгов моих — там, за горой, за водой. Человек вправе подумать о себе как о предмете всех упований и попечений. То есть чтобы о себе попеться, себя самого возлюбить, ну хотя бы в самом конце, ненадолго. Побывать экзистенциалистом...

Вот день — и опять открывается тысяча путей. Ну, не тысяча... Можно пойти добрать морошку — снести гостинце деду Федору с бабкой Таней, посмотреть белые грибы. Можно чапать в Корбеничи за хлебом, для бесед с председателем сельсовета Юрием Михайловичем, демократом. Можно уйти в лодочке на Геную (была вепсовская река Эноя, переозвучили на общепонятную Геную) ловить окуней. Можно — стать к машинке (я давно уже работаю стоя — во избежание сколиоза, для похаживания, обдумывания на ходу), печатать английские заметки, записанные в прошлом году в Англии, главным образом, в Озерном крае, в избе XVII века, с камином и эркондишеном, среди холмов, на берегу ручья, под Рождество. Можно просто-таки залечь, надеть на нос очки, читать «Русскую идею» Николая Бердяева, каковая, кстати, оканчивается фикцией. Фикция (фикшн) — англичане нашли слово, соответствующее нашей «мнимости». В России только и делали, что возводили мнимость в паначею. Русской идеи не существует, как не существует ничьей другой, никакой нации. Уверование в «русскую идею» как нечто мессианское, «задание сверху» принесло русским неисчислимы бедствия, в особенности к исходу XX века, когда провозгласили еще одну революцию, вторую за семьдесят лет в одном, отдельно взятом государстве. Какой нации это под силу? Да никакой! Того гляди, от русских только и останется, что «русская идея».

Вообще не существует идеи в основе устройства мира или хотя бы какого-нибудь блока мироустройства. Самое жуткое и пошлое: «мир надо переделать», опять же согласно идее... В начале был Дух, то есть Бог. Из этого решительно не вытекает какое бы то ни было запрограммированное мироустройство, тем более национальное самоопределение, и это ни к чему не обязывает...

Ревут трактора на угорьях: Соболь таки прислал технику, соскоти здешние тимофеевку и ежу, угнетенные кипреем и осотом.

Вчера с ночи восходила Луна над озером, с другой стороны, чем в июле, когда она запуталась в березе, — на юго-востоке. Луна полная, расплывчато-розовая, с ущербиной слева, так что вышла чья-то физиономия в профиль, с

лысиной, с нанесенными на плоть лунного диска чертами: ртом, бровями. Может быть, Горбачева, почему бы и нет? Откуда мы знаем?

В комнате с мною ночевала собака, вела себя предельно деликатно, понимала каждый мой даже полунамек. И сколько преданной благодарности за миску дрянного гороха, правда, с английской приправой-специей для запаха и вкуса.

Сегодня день отпущения всех облаков с неба, всех дождей, туч, пасмурностей. Небо все голубое, без единого мазочка. Бывает ли так на Вепсовщине? Удостоверю: да, так было 3 августа 1990 года. Немножко таянет с севера, чуть-чуть, а так жарко.

У меня на покосе порядок. Завершаю первую копейку, накошено на вторую.

Ночью, под утро, спал. Приходили крысы, брякали, собака не ворохнулась. Да и то: собака не кошка.

Думал еще вот о чем, о праздномыслии. Множество умов с давних пор сосредоточились на обдумывании ряда вопросов, практически совершенно несущественных, все более изолируясь, сами вопросы для себя выдвигая. К этому же приобьыкли не то что умы, а так, междуумки. Умствование избавляло от иного труда. Мысли излагались на бумаге, перелажались, варьировались. Но в итоге всегда все оказывалось не так, хотя сам процесс мыслиезъявления бывает интересен.

Высказанную мысль ямыняют мыслителю в заслугу, оплачивают. Между тем, я заметил, почти каждый человек, особенно преданный полезному труду, скажем, метанию стога сена, может высказать куда как более емкую мысль, нежели штатный мыслитель, — о человечестве, бытии и текущем моменте. Только словами шершавыми, как репей.

Солнце опустилось за край пустого безоблачного неба. Тотчас на востоке всплыла Луна.

Сегодня на небе почти ничего — так, перышки облаков. Ночью собака кидалась на мышь, но не лаяла. Естественно, поймать не могла...

Кстати, в истории собаки совершенно необходимы уточнения. В одной из первых записей этого лета, когда несчастная истощенная собака оказалась в поле моего внимания и призрания, я укорил в некормлении собаки моих новых соседей-дачников (а сам я кто? я — местный летописец, работающий сдельно, по договору с самим собой), но оказалось, что это не так. Долго живя на свете, я знаю по опыту, что большинство наших обвинений в адрес близких оказывается на поверку наветом; у каждого из людей есть резерв самооправдания, даже самовозвышения; люди в большинстве случаев лучше, чище, чем мы воображаем, во всяком случае, ничуть не хуже, не ниже нас с вами.

Историю собаки мне рассказал Володя Жихарев, корбеничский старожитель, хотя и не вепс: «Я из Шугозера ехал в Харагеничи, сел в автобус, и мужик сел с собакой. А мужик был поддатый. Я как раз с лечения ехал из Тихвина, подшитый, само собой ни в одном глазу. Мужик в Пялье сошел, собачка осталась. А я вижу, лайка законная — охотничья. Как

говорится, гоже не гоже, а на гоже-то похоже. На собачке — ошейник, все путем. В Харегничах у бабки Мани поводок взял, привел в Корбеничи, привязал. Меня врач из Тихвина просил собачку ему подыскать. Ночь продержал на привязи, утром пустил, она у Белякова пять куриц задавила — охотница... Беляков на меня бочку покатил, в суд, то другое. Я ему: «Ты докажи, что собака моя. Как докажешь? Ага?!» А сам ее на поводок да в лодку и в Нюрговичи. Думал, Валерке Вихрову отдам, а его уж неделя как нету...»

Вот такова история месяц живущей у меня собаки. В нашей деревне кооператоры ее шуганули, а прикормили дачники, против меня купившие избу Лева с Таней. Собачка вскоре оценилась, впоследствии всех щенков пристроили, а накормить собаچه семейство, чтобы у всех шерсть лоснилась, Лева с Таней никак не могли, у самих двое малых детей. Так что я напрасно их обвинил в дурном отношении к животным, то есть написал под собственное дурное расположение духа.

Левины-Танины ребятишки звали собаку просто Пёса, собака охотно откликалась. Я решил немножко кличку облагородить, стал звать Пёсу Песси. Собака готовно отозвалась и на этот звук. Так в нашей деревне все собаки стали иностранцами: Рэмбо, Данди и Песси. Вместо Малыша, Тоськи и цветковского Лыско.

Продолжаю читать «Русскую идею» Бердяева, все более прихожу к выводу о том, что изощренное праздномыслие: богочеловек-человекобог — послужило в России полному распаду всего.

В Англии же не было «английской идеи». Хотя была, но ее не муссировали, не педалировали, ораторы в Гайд-парке выступали о другом, лучшие умы Грэйли гранит политэкономии; возлюбленного в России как выразителя мятежного английского духа Байрона на родине мало кто знает. У меня был случай в этом удостовериться...

Однажды я прогуливался в парковой зоне Лондона, неподалеку от Трафальгарской площади, вдруг увидел стоящий особняком, отчужденно, посреди газона с непритоптанной травой, памятник. Горло мне перехватило спазмом узнавания, на пьедестале стоял знакомый мне с детства Байрон. К памятнику можно было пройти по подземному переходу, никуда больше не выводящему, только к Байрону, потому совершенно пустому. Посередине перехода навстречу мне поднялся лежавший на тощей подстилке из газет «Гардиан», «Файнэншл таймс», это я заметил, — пожилой негр, в трусах, но в сорочке с галстуком. Брюки он приспособил в изголовье, пиджаком укрывался. Черный человек протянул мне руку, выворотив губы в добрейшей улыбке; во рту судьба оставила ему дай Бог если два клыка, что говорило о крайнем социальном ничтожестве человека: в Англии что другое, а с зубами у всех окей. Мы представились друг другу, я сказал, что из России, негр по-детски обрядовался такой неожиданной встречей. Он спросил у меня, не коммунист ли я. В ту пору я был стопроцентным

коммунистом, в чем охотно признался. «Ай эм африкэн соуилист», — сказал мне ночлежник подземного перехода по соседству с памятником Байрону в парковой зоне Лондона. К этому он прибавил, что написал пять книг социалистического содержания. Африканский социалист смотрел на меня как на посланника благосклонного к нему Рока, как на улыбку Фортуну... «Гив ми сам мани», — попросил у меня бедолага, то есть: «Дай мне сколько-нибудь денег» — с искренней надеждой... решить проклятую проблему, ну хотя бы что-нибудь съест на завтрак. Само собой понятно, у меня в кармане была... вошь на аркане. Я развел руками, проследовал мимо чуть не плачущего негра наверх, к Байрону.

Каких-либо следов внимания нации к своему великому поэту, хотя бы цветочка, я не заметил у подножия памятника. Байрон глядел печально и как-то в сторону, мимо... На обратном пути от ночлежника в подземном переходе не осталось и следа. Как будто он явился мне в сновидении.

Вчера мы пили чай с младшим сыном в семье Цветковых, вепсом Сашей, в цветковской избе, взятой у совхоза в аренду. (Старшие Цветковы выстроили избу, вырастили в ней пятерых детей, уехали в Пашозеро. Родовое гнездо им больше не принадлежит; младшие зная за него арендную плату как дачники.) Я знал Сашу милиционером Тихвинского горотдела; когда в семье у Саши Цветкова пошли дети, он уволился из милиции, поступил на завод: милицейской зарплаты никак ему не хватало. Поговорили о летающих предметах; Саша видел — летело, величиной с Луну и большого накала.

Саша мне рассказал воспринятое от родителей деревенское предание: жил в Нюрговичах мужик, еще в войну было дело, пошел порыбачить на Сарозеро, заночевал, а с вечера дождь. Мужик забрался от дождя под лодку, ночью слышит, кто-то его веточкой пощекотал, будит. Он вылез, видит, трое мужиков, ростом каждый с полдерева. Ничего ему не сказали, а только он им в чем-то помешал. Они его согнали. Мужик говорил, у него волосы дыбом встали, «шапка поднявши была».

Тихо. Жарко. Вода — зеркало. Плавал в озере — Илья-пророк если и кинул ледышку, маленькую. Август.

Вчера солнце садилось в продольные, продолговатые розово-фиолетовые борозды на небе. Ночью Луна откатилась еще влево к востоку, почти полная. Утром стало заметно бонение стихий, заподудвал ветерок, то с запада, то с юга; небо без облаков, но с хмурию.

Весь день посвятил отблагодарению. Не кого-нибудь отблагодаривал, а председателя Алексеевского сельсовета (в Корбеничах почему-то Алексеевский сельсовет и озеро Алексеевское) Юрия Михайловича Домрачева. От своих щедрот он мне дал два талона на водку. Я его отблагодарил моршшкой, сводил в лес на моршшковую плантацию. У председателя дочка Вероника, девочка с такими невинными глазами, такими неровными детскими зубами, косичками, с таким доверием к папе. Господи! И у меня

две дочки и тоже были доверчивые... Я даже немножко заплакал...

Вечером получил посылку от семьи, продукты питания: две пачки овсяной каши, четыре пачки чаю, три куля сахару. Ну, ладно. Был очень тронут. И люди, две женщины и мужчина, привезли посылку на лодке издалека. Мне было утешно, а сегодня... Вдруг вспомнил, что сегодня день рождения моей бывшей жены... В моей бывшей избе, которую съели крысы.

Вдруг осознал, что выиграл первый раунд. Но почему раунд и почему первый? Если выигрывать, то в последнем... Но все равно... я выиграл первый раунд — победил черную скуку-тоску. Тоска была телесная — от болей, недугов, а душевная — то есть духовная — от старости, несовпадения двух «я», каким воображалось стать и какой вышел. Я перетерпел, перемогся; мне помогли: травы, ветры, дожди, солнце, небо, воздух, Луна, лес, ягода морошка, собака Песса.

Какой сложный психологический комплекс — собака, сколько в ней оттенков чувств, переживаний, драм, надежд. Сколько поз у собаки! Вот она легла на брюхо, вытянув вперед лапы, смотрит на тебя, ждет знака внимания к себе, ждет пищи. Вот она успокоилась, легла на бок, сложила лапки, подогнула коготки. Вот улеглась спать, вблизи от тебя, но деликатно, укромно: день кончился, началась ночь. Сколько выражений у псыны в глазах, сколько детской беспомощности, благодарности. Как она понимает твой голос, что ты ей разрешил. И сколько любви, когда она приходит к твоей ноге, прижимается носом. О!

Сегодня плыл из Корбеничей. Вчера плыл в Корбеничи. А плыть долго и нудно. Плыть и задаешься вопросом: чем безлюдье отличается от бесчеловечности? Правда, чем? Безлюдье, приближаясь к абсолюту, накапливает в себе потенциал человечности. Бесчеловечность чаще всего происходит от многолюдства. Множество людей, собранных на ограниченном пространстве, пусть на большом, подавляют друг в друге человечность; на всех не хватает почвы, питательной среды, пространства, чтобы каждому возрасти в человеческом... Но это уже заумно.

Сегодня я почувствовал себя отдохнувшим. Если бы я, как все люди, работал на производстве или хотя бы главным редактором журнала, как бывало со мною, я бы мог вернуться в коллектив отдохнувшим, обновленным, загорелым, седым, без динамики на электрокардиограмме. Я провел мой отпуск, активно отдыхая, предаваясь любимым забавам.

Да... Но мой отпуск нескончаем. Что же мне теперь делать? Продолжать отдыхать и крепнуть? Но крепость обязательно приведет к сухотке, к надлому. Возвращаться мне не к кому. К себе самому? Так вот он я, мы тет-а-тет, как в кафе у Генриха Рябина.

Задожило, без просвета, без пролазу.

Очень хочется закончить отпуск, выйти на службу. Но выйти решительно некуда. Надо перетерпеть что осталось. Обрылда зауряд-

ность. Хочется сделать ход в незаурядность, а не дается. Еще раз: надо терпеть.

Стекает с черемухи лист. Иногда, как в пьесе Чехова, раздается некий удар по струне: где-то болтается оторванный провод.

Читаю «Русскую идею» Бердяева — и так мне становится скучно: русские умы только и думали, как бы замолить свою вину перед народом — в барстве. Но ни один с барством расстаться не мог. Ну да Бог с ними.

Русская история только и делала, что опровергала русские идеи, рождавшиеся у сильных умов. И граф Лев Толстой является сегодня анахронизмом с его неедением мяса. Тут как-то нашел на полке прошлогодний пакет с макаронным супом, сварил, уловил ноздрями чуть внятный, забытый, как детство, мясной дух.

И одно упоминание о Боге вызывает во мне изжогу. Какой же Бог после Афгана? После длинных ножей в Фергане — какой Аллах?

Я сегодня слишком здоров, слишком физически окреп — крепкий шестидесятилетний старик. Тепло в избе. Поел гороху с постным маслом, горит электричество. Радио «Свобода» вещает о том, что... Все о том же: наши дни сочтены. Многолетняя круглосуточная заупокойная служба по живому существу — нашему с вами отечеству... Впрочем, подают советы, в занудно-невозмутимой интонации.

В брошенной деревне я думаю о другом. Что нужнее человечеству — электричество или коровье молоко? Собственно, для чего электричество? А без молока никак. Младенца не выкормишь в человека — без молока. И электричеством сыт не будешь. И никто не станет румяным от света лампочки Ильича...

И еще я, кажется, задавался вопросом: что лучше, отраднее, пользительнее — кошение травы или игра в теннис? Давайте разберемся. Теннис — верчение на пятке с жестким покрытием, извивы, выверты, бессмысленность результата, горечь поражения; желчь разольется, адреналин или еще что... Или адреналин разливается при победе? Ну да все равно, без разницы. Траву косить: во-первых, в белой рубашке или хотя бы в белой косынке — бабы сено трясут в белых косынках. И в теннисе тоже в белом, в белых тапочках, майках, трусах. Да, но... Косарь косит, вжикает его коса; травы ложатся, подкошенные. Косарь махает косой с размеренностью заведенного маятника...

Ах, как это скучно! Но в каждом взмахе косой — весь человеческий опыт, как жить перед лицом глады и мора. Трава пахнет цветами, полежит на солнце, запахнет сеном — сладостный запах. Теннис пахнет потом. В кошении трав — возобновление жизни: некошенная трава обратится в бодяк, осот, репей; на покосе нежно зазеленеет овата. Теннисист уходит с площадки побитым или побившим своего ни в чем виноватого собрата, что тоже не по-человечески. Косарь уходит с пожни, поставив стога — капсулы жизни; без них жизнь прекратится.

Но пусть играют в теннис, пусть косят сено. Господи, дай нам еще пожить!

День вышел вялый. С утра дожило, потом разгулялось. Пошел в лес, принес того, чего мне так не хватало для моего тонаса,—

вкусную еду. Совсем немножко, но достаточно для вкушения. Добрал морошку всю подчистую, как раз и вышло дедушке Глебу на компот. По дороге нашел пять белых, в белом мху семью лисичек. Компот сварил, грибы сжарил на постном масле, вот и праздник. Затем... Надо было побеспокоиться о собаке. Белые грибы Песси съела, лисички оттолкнула носом. Пошел, наковырял червей в куче навоза, поймал под горой пять окуней, скармил Песси. Поплавал в озере, видел великолепный розово-фиолетовый с драконами — лежа — на небе закат.

Затопил бы камин, но нет дров. Завтра надо кидаться в грибы, топить печку, сушить — начинается страда.

Однако, о деревне Корбеничи, неброшенной, живой. Это особенное поселение. У окон домов кое-где растут желтые цветы, похожие на подсолнухи, но это не подсолнухи, а девясил, тот самый корень, о котором написал книгу Ливеровский, то есть не о корне, а назвал книгу «Корень девясил». И помер. Царствие ему небесное.

На склоне к Капшозеру есть грядки гигантского борщовника, сажали школьники, когда была школа, на опытном участке; борщовник — кормовая культура, идет на силос.

На бревнах неподалеку от спуска к тому месту, где когда-то был паром, сидят две бабы и мужик чухарского вида (чухарями звали вепсов), то есть несколько более дикого, чем вид нечухарский. Впрочем, бывает всяко...

Луна, совершенно полная, восходит на востоке, запуталась в черемухе...

И вот о чем разговор: почему в магазине нет ничего?

— А денег некуда девать. Мы работали за палочки. А хлеб пекли... Муку отпускали по норме. А сейчас?! Сколько муки, сколько чего? В хлебе одни дырки, сырой. И никто не контролирует. А зарабатывают по триста рублей. Это куда же? По триста рублей! Вот никто и не работает. День прошел абы как — и ножки на лавку! Это за триста-то рублей. И пенсии какие! А то еще льготы!

Сколько я слышу — вот на таких не санкционированных сходках двух или нескольких русских людей (или вепсов), в избах, поездках, очередях: льготы немногих засели в печенках у большинства, безльготных. У Глеба Горбовского есть на эту тему стихотворение «Третьи»:

Участникам войны — почет и ордена,
смерть и бессмертье, а на долю третьих
(в борьбе сторон есть третья сторона),
на долю третьих —
лишь ухмылка смерти.

А если жизнь, то чаще без отца,
без дома, без любви,
с душою инвалида...

Участникам войны,
тем, кто глотнул свинца,
и тем, кто не глотнул, —
и слава, и эгида.

Жить под эгидой подвига — одно,
жить под опекой ужаса — другое.

Участникам войны завидовать грешно...

А третьи...

Вот ведь дело-то какое...

Общественного продукта не хватает, чтобы каждому по силенкам, без льгот. Продукт не произведен — вот ведь дело-то какое.

Утром я сошелся с пекарем Михаилом Осиповичем, на почте, пекарь отправлял куда-то большой денежный перевод. Мне давно хотелось написать очерк (поэму в прозе) о сельском пекаре в Корбеничах, кормящем меня хлебом. Пекарь мне представлялся женственным, похожим на абрамовскую Пелагею, тонкошеим, разговорчивым, с чем-нибудь таким в душе, поющим, как жаворонок. Но корбеничский пекарь, чухарь Михаил Осипович представлял собою экземпляр заплывший, без шеи, с толстыми щеками, не допускающими к себе глазами. После я зашел в пекарню, купил у пекаря четыре буханки хлеба — теплого, утренней выпечки. Но пекарь был совершенно не похож на созданного моим воображением — начитанного (мне хотелось, чтобы пекарь в Корбеничах был начитан мною, моими сочинениями), чувствительного интеллигента... Скорее он походил на богатого финна, из тех, что приезжают к нам на руины своих бывших владений, прикидывают в уме, что могло бы быть, что вышло. Я ни о чем не спросил у корбеничского пекаря, хотя по-прежнему люблю его как кормильца.

Луна выпуталась из куста черемухи, взошла...

Ну вот... Корбеничи невозможны без Жихарева, как невозможны Нюрговичи без... Горышина. Впрочем, возможны, возможны...

Вот я иду по улице Корбеничей. Сзади меня догоняет сильно поддатый парень. Я не замедляю шага, чувствую спиной: парень спешит, но его зановит на ту и эту сторону. Никогда не знаешь, чем тебя приласкает пьяный, которому ты вдруг понадобился, может, и ножичком... Догнал, смотрит мокрыми, озерными, чухарскими, невинными глазами:

— Вы писатель Горышин.

— Да, это я.

— Я вас узнал.

— Спасибо.

Больше парню сказать решительно нечего. И некуда спешить. Он не знает, что с собою поделает. Заворачивает к магазину.

Дети мужеска пола, один великовозрастный, катают по улице села Корбеничи колесишки, с полным воодушевлением. Девочки шпыняют босыми ногами мячик. Активные собаки; среди них выделяется черный, лохматый, не то сенбернар, не то ньюфаундленд и еще — маленькая, беленькая, с ушами, как листья фикуса...

Владимир Ильич Жихарев вышел из санатория с принудрежимом, оздоровительного учреждения с обязательной трудотерапией — не помню, как оно называется... Три месяца лечат от алкоголизма — добровольно-принудительно.

Володя доволен лечением, чуть-чуть встревожен, удивлен, многое для него внове, например, сам для себя: трезвый как стеклышко.

Жихарев привез мотор к лодке, но не знает, как подсоединить бобину. Идет по улице, спрашивает у каждого встречного:

— Слушай, как бобину подсоединять: один провод к генератору, другой на массу, да?

Отвечают по-разному, один говорит на массу, другой еще куда-то.

Жихарев и у меня спрашивает про бобину. Отвечаю ему уклончиво:

— Это надо спросить у специалиста.

В доме у Жихарева, то есть на базе отдыха Тихвинского химзавода, где он комендантом, по совместительству сторожем, есть радио, электроплитка, телевизор, большой кипятильник. Мы пьем чай. С хлебом. Жихарев налил в блюдечко постного масла; макаем хлеб в масло; сахара вволю. Курим папиросы Жихарева «Беломорканал», которых нет в продаже, Жихарев привез из Тихвины.

Владимир Ильич Жихарев спускает штаны, показывает мне то место на оборотной стороне его существа, куда ему вживлена, то есть вшита в живую ткань, ампула «эспераль». Я объясняю Жихареву, что «эспераль» по-французски надежда.

— Тебе вшили в ж... надежду. Теперь надейся на свою волю. Примешь каплю — и откинешь копыта.

— Высоцкому тоже вшивали, — с гордостью сообщает Жихарев. — К Люське могли бы пойти, Люська бы картошку сварила, — говорит он просто так, из вежливости, прекрасно зная, что Люська картошки не сварит.

Жихарев живет попеременно на базе и у Люськи, то есть дома в собственной избе — самой худой в Корбеничах, кособокой, с подслеповатыми окошками, как бывает при пьющем мужике. Когда Жихарев пил, Люська его в избу не пускала. Она директор Дома культуры.

Мы пьем чай с сахаром, хлебом, постным маслом, смотрим по телевизору какой-то дикий фильм, в нем партийное руководство — отъявленные гангстеры; мужичок — положительный дурачок — объявил зачем-то голодовку, его приехала снимать западная пресса; тут же кооперативная мафия, станция техобслуживания с левым наваром... На экране жихаревского телевизора сильно снежит.

8 августа. Августейшее утро. Заосеняло. Теперь никак не скажешь, что лето: сухая утром трава, почти безросная, к перемене погоды, с ведра на ненастье. И вот еще один признак: ястребы поднялись высоко в небо и там, высоко, наполнили его своими разбойничьими покликками-посвистами. Впрочем, скорее это жалобные клики.

Но вернемся к Володе Жихареву... А как вернуться, если день занимается августейший?..

Володя вспоминал оставленный им прият надежды с неким недоумением. И с гордостью — за себя.

— Я уж не буду скрывать, я там второй раз, а есть по девятому разу. Там главное что? Это не возникать. Заметят, что ты, допустим, поддатый, все равно тебя не выпишуют. Никак не лечат, ты работаешь, сорок процентов они себе забирают, на это живут. Тебя кормят на полтора рубля в день. Завтрак — 31 копейка, обед 83, остальное ужин. Ну, что дают? На завтрак кашу, яйцо... Я-то —

ни-ни, ни разу себе не позволил, а остальные — он придет только что не качается — и спит. Помещение как раз напротив милиции. Если что, они позвонят, ребята приходят крепкие, скрутят. В мужском отделении 90 человек, а рядом женское — 30. Там у баб ух какие есть! А у нас в основном из заключения, тоже есть алкаши — привозят невеняемых, пробу негде ставить; приблатненные.

Нас из девятина только троих взяли на химлечение, «эсперали» зашили. А так никого, у всех проколы, бесполезно лечить. Если надо куда сходить, у врача попроситься, увольнительную давали. Раз в месяц отпускали домой. Я-то на молокозаводе в котельной вкалывал, в последний месяц мне триста рублей начислили, сорок процентов вычли, а кое-что привез. Вот могу тебе пачку «Беломора» дать.

— Спасибо, Володя, я один живу в Нюрговичах, стараюсь не курить.

— Я-то не могу. Да... Котельная — сердце завода. Представляешь себе, почти в центре города — и на угле завод работает. Это же такая лабуда. И вот в рабочие дни там у них человек сто крутятся, а по выходным — завод все равно работает — справляются девять человек с той же работой. К ним туда придешь в отдел снабжения, бухгалтерию, там бабешки сидят, сплетничают, чай распивают, намазываются. А это же молокопровод у них — все трубы из нержавейки, а электродов достать не могут, эти, из отдела снабжения. Я им говорю: «Да вы чё? У вас же рядом «Трансмаш», у них навалом». А они: «Не твоё дело».

Ты не знаешь, Глеб Александрович, — опять спросил Володя о том главном, что мучило его, — как бобину подсоединить — один провод к генератору, а другой на массу?..

В прошлом году поздней осенью Володя Жихарев плыл на лодке по озеру, наскочил на топляк, выпал в студеную воду, но успел ухватиться за корму. Его побило винтом — не осталось живого места. Однако все же в лодку взобрался, до Корбеничей доплыл, до сантранспорта выжил, потеряв бадью крови. Его залатали, все на нем зажило как на собаке. Желудок у него вырезан — оперировали с прободной язвой.

Ночью в окошко была видна круглая, окровавленная, как отрубленная голова Стеньки Разина, Луна. Я лежал на одной из постелей базы отдыха химзавода, на сетчатом панцирном матрасе, все время уходящем из-под бока, не дающем спать. Это одно из советских достижений — панцирный матрас, с эффектом батута. Заведут в доме койку с таким матрасом — и «жить стало лучше, жить стало веселей!»

Ну ладно, хватит.

Вчера ходил победителем, а сегодня оказался на лопатках. Наелся белых грибов с лисичками, сжаренными на постном масле, с картошкой. Так было вкусно, и главное, из лесу принес, за два часа прогулки набрал. Ночью разболелся живот. Не было того средства, какое ранее обнадеживало: живот на живот, и все заживет.

Сегодня, кажется, был последний день в Нюрговичах. Последняя ночь. Истоплена печь. Болит живот. Разваливается страна. Заваливается страда. Горе нам, горе... Есть у меня буханка хлеба, две пачки «Геркулесу», куль гороху, постное масло, чай, сахар. И много-много сена. Можно завести козочку, сена хватит. А собаку Песси нечем кормить.

Всю ночь поливая дождь, болел живот, и так мне было худо перед лицом всеисильной болясти... Но Ангел мой добрый послал мне пачечку бесалола. Откуда? Кто? Бесалол скукожился от долгого лежания, ожидания того крайнего мига, когда... Я вылуцил четыре облатки, две проглотил, мне полегчало, под утро я уснул. Была мысль о бегстве, но бежать некуда. Утром явилась другая мысль — выцыганить еще и этот денек у предстоящей бездны беспомощности перед старостью, перед злым моим Роком. Прожить день жизни по моему хотению, сознавая главное — радость жизни-подарка, счастливого сохранения себя в самом себе, заодно с природой: моей горошкой, моим наморщившим чело озером, туманами, травами, моей избой с истопленной вечером печью, с моими мышами, с собакой, наводящей шорох на мышей. Господи! Спасибо Тебе еще за этот день моей жизни!

Вчера передавали по радио поэму Аполлона Майкова «Ловля рыбы». Сегодня все вышло у меня по Майкову, сон в руку. Поймал на Ландозере черных больших окуней. Днем будто кто мне шепнул: над иди на Ландозеро. Не кто-то с летающей тарелки, а Михаил Цветков, кагэбэшник, сын деда Михаила, ныне покойного, рассказал, как идти. Так точно и вышло.

Ландозеро — это мне подарок. Сколько живу, ни разу не сподобился сойти с тропы, ломиться палым лесом, взойти на горку... Озеро дожидалось меня, никто на него не хаживал — черноводное, елями обросшее, большое, как все в Вепсовской тайге, дикое-дичайшее, бобрами обжитое. Березы у оборов в воду повалены, береста вся зубами сгрызена-сглодана; тут же берестяные завитушки — беги, зажигай костер.

В избе теплынь. У печи на сене спит моя Песси на спине, задрав кверху лапы, прижавшись хвостом к теплу. Славно! Еще один денек счастья!

«Местность у нас горбатая, горбина на горбине. Кто знает, говорит, что хребтина самой высокой горбины имеет отметку 300 метров над уровнем моря, в Балтийской системе координат.

У нас, как всюду, есть все знающий человек. Впрочем, найдется и ничего не знающий...»

Такое начало я придумал для повести о наших местах, с вымышленными героями, и прототипов героям выбрал, и заголовки: «Местность»... Но повесть не пошла, поскольку жить-то все же интереснее, нежели вымышлять про жизнь, пусть даже «над вымыслом слезами обольюсь...»

Погасло электричество. Пишу со свечой. День вышел больной, маялся животом, ничего не мог делать. Лежал, читал «Русскую идею» Бердяе-

ва, все более раздражаясь бесплодностью ухищрений мысли. Всё Гегель, Гегель, Гегель, всё Толстой, Достоевский — ну, ладно... Все высказанные мысли, все изреченные максимумы упираются в стену Кремля, где правил бал маленький, щербатый инородец... Знать то, что было, приобретает новый смысл, когда знаешь, что вышло. Из этого? Из другого? Но из чего? Что вышло? Что будет?

Нынешняя моя деревня не дает уединиться, сосредоточиться. Не дает.

Горит моя свеча,
понурилась изобка...

Продолжает дуть юго-запад, шелоник, ветер, наносящий облака с дождями. Хмуρο, холодно. Завтрак варил на костре. С начала приготовления оно до момента съедения — два часа. Завтрак вобрал в себя множество операций. С чего начинается завтрак в брошенной деревне Нюрговичи у старого одинокого человека? Взял топор, слезил на крышу хлева, пристроенного к избе, отключил бывшую стропилу, снес ее на козлы, отпилил полено, мелко расколол, зажег костер из щепок и лучин. Повесил над костром на тагане кастрюлю с картошкой, чайник. Пошел нарвал зверобой, погрузил его в чайник... А вода? За водой спустился по крутосклону к озеру, принес два ведра. Костер себя вел, как всякая женщина: требовал к себе внимания, тшдания, понимания природы горения. Как только я отвлекался от костра и подкладывал не такие, как надо, чурки, костер остывал, погасал. Так было долго, но наступил и миг торжества: паром окуталась картошка, засмуглел чаек. Дуже добже. И полетела душа моя в рай.

От тех незапамятных лет,
откуда все наши отсчеты,
остался нам запах котлет,
пустые медовые соты.

Таким образом, за время приготовления и вкушения завтрака я оглядел всю окрестность, вобрал зрением красоту, нахмуренность, молодость ранней осени.

Месяц в деревне минул. Пойдет второй срок. Бог даст, в нем будут отвлечения от себя самого, от меня грешного; малость я себе поднадоев. И все же: я один — арг!

Середина августа. О Ваше Августейство! Высоко в голубизне неба неподвижные подмалевки облаков. Ветер дунет с юго-востока и стихнет. Рано утром над озером воцарилась сплошная белая шуба из тумана. Как будто озеро укрыли дымовой завесой от посторонних глаз. Утро выдалось изобильно росное, в росе по колено. Чем долее здесь живу, тем сильнее во мне чувство долга — быть здесь; не уехать, даже не отлучиться. Кажется, отлучиться и чего-то лишусь, недополучу. Ночью хорошо спал, ничего не болит. Я себя победил, или господин (и товарищ!) Август меня приглубил. Самый лучший Август в моей жизни. Я так его ждал!

Вчера ходили с отроком Кириллом на Ландозеро ловить окуней; отроку одиннадцатый год, еще в нем не затвердела ни одна косточка,

ни одна нота в тоне голоса. И это — лучшее в человеке — неотвердение, восприимчивость. Я поделился с отроком Кириллом моим Ланд-озером; он в нем поймал окуней, а у меня не клевало. Пойманных мною пятерых окушков я отдал Кириллу, вечером у них в семье был праздник — и праздник у меня на душе. Сегодня по радио сказали, что — праздник строителей. Сколько раз я ступал за край поражения. И вот опять взмогло для меня солнце. Буду топить баню, купаться в озере.

Солнце садилось в изысканных декорациях. Был явлен полный диск солнца, в предельном накале, и справа от солнца ультрамаринное протяжное облако, похожее на дракона с разинутой пастью... Солнце оказалось в пасти дракона, но вскоре выкатилось, ушло вниз; разверстые челюсти озолотились, обагрились. Картина заката не заключала в себе какого-либо ужаса; все было декоративно, полнозвучно; солнце прожгло облачную пелену, село непосредственно за край земли. Ночь пала росная. Все обещает завтра ведро. Поглядим.

Сегодня я топил по-черному баню, по-черному и парился, мылся. Недотопил, жгучего пару не вышло. Впрочем, мне хватало. Сенничал, вечером ловил окуней. Сколь гадкое все же это занятие, с червями, навозом, с кровью, жестокостью и, главное, с мизерным уловом. Я бы не ловил, но голоден, хочу есть, и надо кормить собаку.

Лег спать, но не мог: приемник выдал концерт легкой музыки из Ленинграда, с Эдитой Пьехой. Я вскочил как встрепанный, чтобы загасить приемник, будто выпала головешка из печи, заасмерило чадом. Затопил печку; огонь успокоил меня.

Я зажег в печи три полена, сразу стало... Нет, тепло не стало, но засочились первые флюиды тепла. Главное, огонь, занявшись, взял на себя столь многое: согреть, высушить, справиться с мраком, отвлечь — от чего угодно, даже от голода, от обиды; привлечь к себе. Каждому, как бы далеко ни заходило его отчаяние, дано смотреть на огонь, чтобы забыться. Смотрение на огонь — активное состояние.

Теплынь. Безветрие. Небо заволочено облаками. Росы по колено. Думал, что надо бы прожить здесь до середины сентября. Тогда схлынут дачники и наступит... Что наступит? Хочется написать: статус кво.

Варится уха из четырех окуней. Накапывает дождь, но солнце близко.

Дождь таки разошелся, на всю катушку. Я очутился тет-а-тет с дождем: я и дождь. Бьют молноньи, от чего поперхается мой приемник. Президент Буш беседовал по телефону с президентом Сирии Асадом и остался доволен. Чем доволен? разговором? Асадом? собой?

А что у нас в государстве, я не знаю. И президент Горбачев тоже не знает. Нашего президента перестали приласкивать: Михаил Сергеевич. Президент Горбачев — и ладно. Президент Горбачев суть нуль, но все еще есть маленькая надежда, что нуль-то с палочкой.

Пили водку с кооператором, бородатым Серегой. Закусывали щукой, сжаренной на постном масле, в белой муке. Серегга сказал, что нашел

в одном местечке (в каком, не сказал) сорок белых грибов, за одну поездку в Корбеничи за хлебом взял восемь щук. В этих цифрах: сорок, восемь — скрывается какой-то sacramентальный смысл. Я почему-то тоже рассказываю: «Я взял в одном местечке сорок белых зараз». Никогда не скажу сорок два или тридцать восемь, только сорок. Восьмерых щук я не лавливал.

Пришел кот Мурзик, старый, еще цветков-ский кот, живущий у кооператоров, лег на мою бочку, служащую мне столом — обеденным, завтрачным, ужинным, а также и письменным, — принялся намыввать гостей. Я думаю о гостях: явятся ли? Есть ли хотя бы один человек на свете, ощущающий во мне нужду? Мне оставлена только природа, в которую надлежит уйти.

Однако пора мне садиться в лодку — день быстротечен и — Господи! — как скоропребоящая жизнь.

Из прошлого дня или позавчерашнего... Сбежал в потусторонний мир, по ту сторону озера, глухой тропой в деревню Харегеничи... Бабушка Евдокия Трофимовна Богданова, говорящая со своей мамой, столетней бабушкой Катей, по-вепски, накормила меня манной кашей, ухой из окуней, вареными яйцами, дала бутылку водки и стопку, чаю с пряниками, стакан молока. А когда я спросил, бросил курить ее брат Василий или все еще смолит, она принесла мне блок сигарет «Ту-134»...

Василий пришел с окуневой рыбалки задыхающийся. Он сказал, что лежал в больнице профтехзаболеваний, у него нашли все болезни, какие бывают, — и язву, и острый гастрит, и астму, силикоз, — давали все лекарства, какие есть. И не помогло ни грамма.

Бабе Дусе под семьдесят, она прирубила к избе еще пол-избы, для себя. А так в доме Богдановых, сколько я их знаю (уже десять лет), ничто не меняется. Вася живет в Питере, приезжает на лето; силикоз у него от работы в печах; он складывал и починал мартиновские печи на заводе «Большевик».

Вася рассказал историю о том, как... баба поймала щуку на тридцать с чем-то килограммов. Начался рассказ с того, как мужик пустил в ночь пастись коня и поставил перемет. Вася сказал не «перемёт», как у нас говорят, а «перемет». Утром коня надо было привести с пастьбы, мужик ушел за конем, а бабе не стерпелось посмотреть перемет. В перемете поводками были веревки, сам перемет в руку толщиной, крюки «здоровушшие», на крюках наживлены окуни. И вот бабу стала щука водить, таскать, едва не утянула, но баба сдюжила, «вытащила». «Женщина есть женщина, — заключил рассказ Василий. Нет, еще не завершился... Героическая женщина положила гигантскую щуку на плечо, хвост у щуки... «волокуся по траве и морда тоже — по траве».

Другая Васина история ближе к нам, ко мне. Вдруг явилась в Харегеничи женщина лет пятидесяти с небольшим, из Ленинграда и почему-то прямо в избу к Богдановым. «У ей в руках из журнала вырвано, из «Искорки», что ли, Горышина статья. Она говорит: «Вот здесь написано, что в деревне Нюрговичи живут старики Торяковы. Я решила раньше возраста

на пенсию выйти, поехать туда и с ними жить, во всем им помогать». Мы — ну что же, раз так решила, вольному воля. Только, мы ей говорим, Торьяковы теперь в Корбеничи переехали. А идти так и так. Она пошла, ладно. Через неделю является, ее оттуда выставили. Не знаю, чего-то не прижилась. После нам Анна Шилова, она местная, но уехадчи, на лето приезжает, нам говорит: «Я ей, этой питерской, говорю: «У Торьяковых свои племянники есть. Тебе здесь нечего делать?». А она думала, эта, питерская, ей наследство перепадет, изба или что (вот какие прощальные вепсы, наперед знают даже, кто что подумал). «Она, говорит, первый-то раз печь у Торьяковых затопила, а трубу не открыла, чуть не уморила...» Она явилась из Корбеничей такая сердитая. Она вообще с озором и там свои порядки стала наводить. Ее и выставили отсюда. Она говорит: «Вот, Горышин все наврал».

У этой истории есть продолжение. Забегая вперед, доскажу. Однажды на почте в Корбеничах мне выдали письмо, из Ленинграда, с незнакомым обратным адресом. Письмо такое:

«Здравствуйте, уважаемый Глеб Александрович!

Извините, но, к сожалению, мне даже стыдно за это, я до сих пор не читала ни одного Вашего произведения. И — о чудо! Случайно прочитала № 8 за 1989 год детский журнал «Искорка». Иногда в детских журналах я нахожу для себя много поучительного и интересного. Прочитав Ваш рассказ «Кто живет на Горе» (письмо из лесу), я влюбилась, но не в Вас, а в то, как Вы пишете о лесе. Я тоже страстная любительница леса и уже исходила за свою жизнь десятки километров в Ленинградской области, особенно на Карельском пещейке.

Только с лесом я лажу и нахожу общий язык, с людьми я постоянно конфликтую. Прочитав Ваше письмо из лесу — вы просите: давайте навестим деда Федора и бабушку Татьяну в деревне Нюрговичи... И вот я решила навестить и немного помочь Вашим старикам. С большим трудом достала билет. И вот я в Харагеничах. Хорошо, Ваши ушлые рыбаки подсказали, что деда еще осенью перевезли в Корбеничи, а то бы так и ушла в Нюрговичи. И вот я в деревне Корбеничи. Но, к сожалению, прожив в ней неделю, я не встретила добрых людей, о которых Вы пишете. Потому что эти Ваши «добрые вепсы» успели снести весь клевер себе, забыв о бычках, и в магазине мне отказали в 2 кг муки, не для себя, а для деда.

«Добрými вепсами» я хочу назвать только Федора Ивановича и Богдановых, бабу Катю и тетю Дусю, о Василии воздержусь. Деда, чувствуется, как парализовало в этой деревне, он здесь даже еще больше оглох от переживания и от переезда. Здесь он не чувствует такой воли, и это очень заметно, как в своих Нюрговичах. Отовсюду гоняют его овец, жалуются мне, что, Кира, видимо, придется расстаться с овечками, потому что не знаешь, где косить, да я бы помогла. А вообще-то, если бы не моя работа, пошла бы хоть пешком к директору совхоза и выхлопотала ему совхозно-го сена, дошла бы и до председателя рай-

исполкома. Уж это-то заслужил за свою тяжелую долгую жизнь дед Федор Иванович. Да, дед, чувствуется, сильно сдал после этого переезда, да и Татьяна Максимова постоянно хворает. И печку кто им перекладывал, обломать бы им руки.

Не знаю, изменится ли отношение деревенских к бычкам, когда выстроят новый скотный двор, сомневаюсь. Уж очень наплевачески относятся и трактористы, и кто кормит бычков. Лишь бы день прошел, и ладно. Вообще, от Ваших деревень у меня осталось тягостное воспоминание. Особенно мне жаль голодных и грязных бычков, которые, кстати, не гуляют, а стоят по колено в навозе в душном скотном дворе.

В глубинке намного сложнее и одновременно проще. Здесь не очень-то прячут несправедливые дела. Они — на виду. А бороться с ними труднее. В Нюрговичи так и не пришлось сходить, посмотреть избу деда. Извините, что отнимаю у Вас столько времени. Письмо, конечно, и не мечтаю от Вас получить, а автограф на Вашем рассказе очень бы хотелось иметь. С уважением к Вам и Вашему таланту, как Вы пишете о лесе.

Кира Георгиевна.

Что я могу сказать Вам, Кира Георгиевна? Правда Ваша. Но ведь то, что Вы увидели в Корбеничах, можно увидеть в тысячах деревень нашей России. Названы первопричины явлений и последствий: «раскрестьянивание», «отчуждение работника от земли» и т. д. и т. п. Предлагаются и радикальные меры, чтобы несчастным бычкам не стоять по колено в навозе: «аренда», «кооперация», «фермерское хозяйство»... Но это суть формы, проекты, а люди стали добрыми или не очень — при заведенном порядке жизни, немилосердном; применяясь к нему, как выжить. Вам, кажется, не очень понравился Василий Богданов. Представьте себе, он множество раз забирался в пекло мартеновской печи, остуженной самую малость — мартен нельзя совсем остудить, непрерывный процесс, — находил там изъян и починял; его легкие изъязвлены кремниевой пылью — профзаболевание силикоз. Такого обжиги у него и характер.

Помню, на сессии сельсовета в Корбеничах не могли решить вопроса о перевозчике: кто перевезет в лодке через Капшозеро? Кто Вас перевез, Кира Георгиевна? За сто двадцать раз перевозить не идут, да и некому, а через озеро-то не перепрыгнешь, не глубинка — глубина. В магазине провалился пол, починить тоже некому, не на что. Собрались открыть школу, на двоих первоклашек, а в школе поселился дед Григорий, уперся — давайте квартиру в Пашозере, а так не уйду. Квартиру не дали, дед не ушел, школу не открыли. Ни один вопрос на сессии не решился с пользой для населения. И так всю дорогу. Еще летом — ладно, на ягодах-грибах перебиваются, а зимой и вовсе небо в овчинку.

В зиму 1989 года я получила письмо из Нюрговичей от Ивана Текляшева — в последний раз тогда зимовали в родном селе две семьи: Текляшевых и Торьяковых. Вот письмо

в том виде, как написано, с маленькими орфографическими поправками для понятности:

«Дорогой Глеб Александрович!

Получили от тебя открытку, большое тебе спасибо, дай Бог тебе больше здоровья, что ты не забыл нас. Глеб Александрович, у нас в деревне Нюрговичи кроме снега ничего нету. Живем два месяца, как ведмедь в берлоге, нету ни свету, ни телефона (бабушке Татьяне Максимовне за 80, ее измучила астма.— Г. Г.), радио не говорит, дороги с осени нету, только одна тропинка от нас к Торьяковым дяде Феде и к нам, больше никакого следа нету. Я езжу на работу в Усть-Капшу по озеру на лыжах (в один конец 15 км, под слоем снега вода — наледь; на лыжи налипают по пуду.— Г. Г.). Вот такие у нас дела.

Федор Иванович и Татьяна Максимовна пока бродят, но в магазин не ходят уже два месяца, сахар в Корбеничах взят, там так и лежит. Федор Иванович написал заявление на телефон как участник войны и инвалид первой группы и не мог добиться никакого результата. В сельсовет обращались, никакой помощи нету. Теперь не знаем, куда обратиться. Наверное, придется зимовать так, без свету. Снегу у нас, пожалуй, есть на два метра, так что хватит. Вот такие дела.

Глеб Александрович, если сможешь, напиши хоть статью про нашу жизнь в Нюрговичах. Если сможешь, то вернись к нам, пожалуйста. До свидания.

Ваня Текляшев».

Что удалось тогда сделать? Свет в Нюрговичи провели. Егерь Большаков отвез на «Буране» посылку старикам: десять буханок хлеба, три кило сахару, килограмм масла, бутылку водки, чаю, спичек... Надолго ли им хватило? Вот и посчитайте, Кира Георгиевна, почему у наших вепсов фунт лиха, во что идет унция добра?

Вепсы не сентиментальные люди. А что же вы от них хотите? Только не надо отчаиваться, тем более раздражаться. Добро у наших вепсов в отличие от того, что вы называете «неправедные дела», сокрыто от посторонних глаз, я говорю о тех вепсах, которые сохранили тепло своих очагов и делятся с нами — теплом, а чем еще поделиться?

7 часов утра. Росно. Туманно. Новые мысли: отказ от анахоретства, возвращение в Питер, предъявление себя обществу. Разумеется, при собственной базе на Вепсовщине. Жить там и там поровну. Это — утро вечера мудренее; вечером мысли потяжелют — от работы целого дня. Вечерние мысли тоже не фунт изюму... В прошлую зиму я жил месяц в Англии, там все на фунты: без фунта стерлингов не купишь и фунта изюму...

10 часов вечера. День был августовский, мягкий, ласковый, без единого дождя, с постоянно в меру жарко греющим солнцем, с чуть прохладной водой в озере, с малиной, черникой. Утром на мою блесенку вялся большой окунь. Он вышел из воды радужный, розоватый, как переходящий выпел «Отличнику рыболовства». Сегодня у меня День Большого

Окуня. Был День Большой Шуки, День Ландозера, день сессии Алексеевского сельсовета (в Корбеничах). О! Сессия! Сельсовет!

Отчет о сессии — не мой все же жанр, потребовал бы многостраничного изложения прений сторон. Стороны было две: депутатский корпус, включающий в себя все трудоспособное население Алексеевского сельсовета и председатель совета Юрий Михайлович Домрачев. Приведу один пункт (или подпункт), вызвавший дискуссию. Председатель сельсовета высказал пришедшее ему на ум благое — для народа — установление:

— Объявляем все леса на территории сельсовета и водоемы, какая где есть живность, рыба, нашей собственностью. Приватизируем. Сами будем охотой заниматься, какая-никакая свинота нашим бабкам перепадет. А то — егеря! Что они делают, я не знаю. На нашей территории егерей не будет. Сами будем пользоваться дарами природы.

На первый взгляд, какое гуманное, архидемократичное предначертание! Однако что такое свинота? Очевидно, председатель имел в виду кабана — дикого зверя вепря. Но попробуй его убей: охота на кабана требует навыка, мужества не меньших, чем на медвежьей охоте... Таков был ход моей мысли на сессии Алексеевского сельсовета летом 1990 года. Депутаты задумались. Выступил приглашенный на сессию егерь Большаков. (Приехал из Харагеничей в Корбеничи на огородном тракторе, и я вместе с ним; сидел в тележке, всего закидало грязью из-под колес.) Начал с хитрого хода:

— Чтобы провести партийное собрание, надо иметь минимум трех членов партии... Чтобы заниматься охотой, надо быть членом Общества охотников, без этого нельзя иметь ружья. Поднимите руку, кто из вас член Общества охотников?

Руки никто не поднял. Егерь Большаков сделал паузу, продолжал:

— Мы, егеря, ведем охрану зверя и дичи, все равно на чьей территории, не пускаем в лес браконьера, выписываем путевки на охоту. А у вас есть средства на охрану? Кто охранять-то будет вашу свиноту? Это же завтра к вам приедут тучи городских охотников. Тучи!

Не имея веских аргументов — посадить егеря на место, председатель Домрачев перешел на личности:

— Я вас лично не знаю, кто вы такой, мне неизвестно, чем вы занимаетесь на территории нашего сельсовета. Это — наши угодья, мы сами разберемся, как их использовать.

Долго, долго еще шуметь сессии Алексеевского сельсовета в селе Корбеничи на берегу Капшозера неподалеку от Алексеевского озера... Отголосок той летней сессии вдруг донесся до меня зимой. Однажды утром раскрою газету, стану читать статью «Сельский сход» — и вдруг начну узнавать: все знакомые лица...

В один из зимних дней над селом Корбеничи закружили два вертолета — и сели. Сельские бабки переполошились, покуда все разъяснилось: прилетели два крупных туза — генеральные директора концернов-объединений с кем-то совместных, не то кооперативных, не то

акционерных, в общем — тузы, каждый на своем вертолете. Депутатов скликали в сельсовет, они-то и знать ничего не знали. Председатель совета Домрачев изложил захватывающую дух перспективу: мы продаем — наши земли, воды, леса, — они, тузы, покупают. Строят дороги, туристические комплексы, охотничьи базы, фабрики по переработке даров природы, фермы, теннисные корты — те самые, о которых уже было у нас говорено с председателем Домрачевым... И — наступит благоденствие в Вепсовской республике, потекут в местную казну... ну, конечно, доллары, а что же еще?

Торги продолжались два дня (вот жаль, меня не было, я в это время как раз был в Китае). К сельсовету стянулось все дееспособное население с округи. Грянул сельский сход — вече Вепсовской республики. Ну, разумеется, под эгидой хозяйна здешних мест — директора совхоза «Пашозерский» Михаила Михайловича Соболя. Вепсы уперлись — и ни в какую (сам Соболев из Белоруссии): не желаем... То есть не верим: лучше синица в руку, чем журавль в небо. Тузы улетели ни с чем. Под горячую руку переизбрали председателя сельсовета — вепса, он и прежде председательствовал, до демократического взрыва.

Ну, что же, вепсам видней, они народ осмортельный.

После я спросил у Соболя, куда делся Юрий Михайлович Домрачев? Соболев ответил: «Скрылся в неизвестном направлении».

Сегодня я сделал четыре ходки — рекорд. Рано утром плавал на байдарке вдоль берега, с дорожкой. Ловил на удочку. Сенничал. Дважды купался в озере. Жарил окуня, съел его, чувствуя изумление пищеварительного тракта: вкусно, забыто, крайне мало. Ходил в грибное местечко, но грибов нет. Собрал малины, сварил компот. Пошел в боры, собирал чернику, сварил еще компоту. Сел в лодку, плыл по озеру, сознавая, что это — высшая моя радость. За день ни с кем не разговаривал, никого не видел.

23 часа 50 минут. Передавали речь Горбачева, отрешенную, как будто судит со стороны, в удрученном тоне.

9 утра. Косил отаву, нежную, сочную — второй укос на моей суземке. День восстал без дуновения ветра, весь голубой, зеленый, в розовости кипрея, в сладости наливающихся малинников. На покосе второй раз за лето зардели клевера, бодяки сгнули. Вчера поднял в лесу красные сыроежки, краплаковые лисички, сорвал первую желтую купаву, нежно пахнущую этим временем года, этим лугом, соком жизни.

Утро росное; лес в ожидании, в тихом, вечном своем труде созрания: черника, малина, потом брусника. И так тихо: никто не ударил по косе бруском. И ни одной ласточки в небе. Не стеноют ястребы.

Такое раздолье в природе, такое сосредоточенное затишье, такая полнота всего. Столько красоты, завершенности, гармонии. Полнота жизни природы поглощает, растворяет в се-

бе неполноту всего личного, несовершенство, утраченного. Порхают бабочки, трепыхаются в небе ястреб, как жаворонок. Потрепыхался, вспомнил, что — ястреб, прилег крыльями на воздушный поток, поплыл.

Мне нужно ехать за пищей насыщенной в мир населенный — самое лучшее плаванье по озеру в возлюбленной лодочке, в лучший день жизни. Уехать, чтобы вернуться. Пора, мой друг!

7 сентября. Первая теплая ночь в сентябре. Вчера дули восток и север, сообща, все дули, дули. Я плыл на байдарке против ветра; ветер не кончался, хотя дуть все время нельзя, как нельзя все время заниматься перестройкой. Ветер ослабевал, но тотчас опять задувал, с востока и севера. Вот так у мужа с женою в худой семье: баба стихнет — и опять. Мужик отрякнется. Был момент в плавании, когда явилось солнце, а близко к нему черная туча. Ветер прекратился, вода стала черная, а посерединке озера протянулась гряда белой пены, той, что недавно белела на гребешках волн.

Я плыл из Усть-Капши домой и все не мог устать, хотя ветер дул навстречу. После четырех часов плавания на весле, против ветра выпал хороший сон без сновидений, на всю ночь. Вот вам и лучшее сновторное. Днем было ветрено, мокро, ознобно. Я истопил печку, мало истопил, ровно столько получил тепла, сколько улетело в трубу. Лежал читал Ельцина, вполне довольный его простодушной хитрованностью, его милым хвостовством.

Пять дней у меня гостил мой младший товарищ профессор С. Удивительно все нам удавалось, то есть давалось даром.

Все пять дней мой товарищ запоем читал прихваченные из дому детективы, даже во время еды или когда отправлялся в наш приют задумчивости, под черемуховый куст над озером. Он мне объяснил: «Самые скучные, дубовые детективы — советские и немецкие, чешские тоже скучно-примитивные, польские лучше. В американских обязательно брутальность, много убийства, крови; убивают какими-нибудь тяжелыми предметами, например, бревном по голове. В английских детективах тоже убивают, без смерти нельзя, но убивают не ребенка, не женщину, не молодого человека — это не по-джентльменски, а какого-нибудь уже хорошо пожившего пожилого сэра. Тоже жалко, но не так...»

Было нам с С. испытание-воздаяние. Пошли на Ландозеро удить окуней. Дул свирепый ветер, стыли руки, окунь не брал. Мало того, по дороге на озеро был утрачен единственный, мой последний крючок. Но мы нашли на берегу Ландозера две мои удочки, для чего-то занесенные сюда и сохранившиеся (как для чего? для нашего с моим другом профессором С. уженья). Две! Для меня и для С.! Дул ветер, окунь не брал. Это было нам испытание. Мы почему-то не уходили с озера, хотя здешний Леший нас выживал; часа два с половиной дрогли — и поймался первый окунь, нам воздаяние, а потом и еще. Я вытаскивал пятнадцать черных, сытых, лесных, красивых окуней, а про-

фессор С. пять. Таким образом я возвысился над профессором, как постоянно возвышался над мною Ваня Текляшев на рыбалке и на покосе. Зато вечером после ухи за уместной беседой мой друг брал реванши, сколько хотел, даря мне умные мысли, которых я сам не имел.

Так мы делились с товарищем кто чем богат, и наша фортуна постоянно нам улыбалась: даже на паромной переправе через Капшозеро понтон оказывался на нашей стороне — и туда ехали, и обратно.

Днем лежал, читал книгу двух авторов, как бы их диалог о судьбах нашего отечества. Авторы высказывали то, что знали, не очень-то прислушиваясь друг к другу. Читать трудно, хотя вдруг вычитывается стоящая мысль. Ну, например, что XX век — апофеоз человеческой глупости: многие миллионы людей на гигантской территории... Впрочем, вот цитата: «Вообщем не следует превеличивать легковере древних, особенно людям XX века, которые на больших пространствах и долгое время вели упорную войну со здравым смыслом. В XX веке человеческая глупость расцвела пышным цветом, и нечего смотреть на прошлое свысока».

Это так, но, может статься, и в прошлом доставало глупости, тогда нам легче будет разобрататься в самих себе, не обнадеживая себя тем, что все до нас сделалось, как следовало быть.

В одной из бесед с профессором С. мы сошлись на мысли (почти во всем с ним сошлись), что не надо делать козлом отпущения Ленина, как и кого бы то ни было. Да, Ленин виноват как совратитель — империи с назначенного ей историей пути, — но он совершенно не виноват в том, что наши предки и мы его обоготворили, поклонялись ему, как буддисты поклоняются Будде. Вот что важно, прежде всего.

Ходил в лес и вдруг понял неполноту моего слияния с лесом: пора отсюда уезжать. Здешний лес не приносит мне изумления новизны, открытий; все повторяется, все было... В лесу хорошо, но нет остроты приобщения, открытия. Возможно, так еще потому, что нет в лесу грибов. В сентябре не выдалось ни одного дня с солнцем; бабуему лету всё не улыбнуться. Зато есть поздняя малина, самая сладкая, мягкая, сговорчивая, идущая навстречу ягоде. Ягоды висят вровень с твоим ртом, можно отрясти с ветви прямо в корзину.

Вечером ходил в моей лодочке по озеру с блесной. Вышел на берег, помахал спиннингом, но щука пренебрегла, блесна зацепилась за топляк. Вот начнут вылавливать топляки — хоть открывай музей поднятых со дна Капшозера блесен. Под музей согласен отдать мою избу, сам буду и хранителем, на общественных началах.

У Личутина прочел, что перлы, то есть жемчужины в нашем народе — лесовики-рыбари-охотники, с их всепримиренностью, терпеливостью, яснотомыслием, нераздражительностью, очарованностью. Я все жду в себе этой жемчужности, но — увы! — страдут, источены зубы.

Истопил жарко печь. Собранную малину сварил. Сейчас 4 часа ночи. Или утра. Пью чай с малиновым вареньем.

Утром зашел Володя Жихарев, принес нарубленного самосаду. Все возвратилось на круги своя: надо самому гнать самогон, выращивать табачок.

Заворачивал самосад в английскую газету «Гардиан», привезенную из Англии, чтобы читать на досуге у себя на ранчо в Ньюговичах, — вышло шибко хорошо, бумага тонкая, не искрит, как тихвинская «Трудовая слава». Пришла мысль написать в Лондон; в редакцию «Гардиан» об этом непредусмотренном достоинстве газеты: хороша для самокруток. Мысль пришла и ушла, как приходит и уходит кот Мурзик. В избе тепло, подслащаю жизнь малиновым вареньем. Уеду отсюда, исполненный терпеливости рыбаля-охотника, лесного человека.

Но почему же не идет гриб?

Холодная, сырая, ненастная ночь. В избе сладостно тепло. Играет по радио музыка. Варится картошка, еще есть капля постного масла, лук. Лежит черная, восторженно-любящая, всегда голодная собака. Будем с ней есть картошку.

Сегодня мы с собакой ходили по малину. Я ее угостил ягодами, она сообразила, что можно малину скусовать с веток, но не достать. Я сламывал ветки с ягодами, кидал ей, она ела.

Впервые после долгого изьяного быта вышел на волю: стихли восток и север, стало тихо, правда, с низкой нависью туч, с обильной росой — жемчуга на зеленой отаве. С целым днем жизни предстоящей, без малейшего насилия над собой, с полной свободой выбора. У меня предчувствие, что сегодня придут грибы. Такое предчувствие было в первый день по приезде, не оставляло по сей миг, а приехал я 14 июля; сегодня 10 сентября. Сбегаю в дальние боры, надо им поклониться.

Сегодня как будто купил цветной телевизор, включил, вместо серенького: красиво, весело, в мир вернулись краски. Наступило абсолютное безветрие, воцарилась зеркальность вод, сделалось тихо-тихо.

Сбегал в лес с корзиной и ружьем, понимая, что это — вещи несоместные: ружье требует верхоглядства — высматривать сидящих на деревьях птиц. Моя собака то и дело взлаивала, сообщала мне, что птица посажена, сидит, что она, собака, птицу держит своим лаем, до прихода охотника. Я как мог поспешал; завидев меня, собака кидалась на дерево, обкусывала с хрустом нижние сучки — демонстрировала ярую охотничью страсть. Всякий раз на вершине ели я обнаруживал не черную птицу — глухаря, так нужного мне для супа и жаркого, а рыжую невыкуневшую белку. Стрелить белку было бы совсем уже никуда, хотя собака ждала от меня именно этого. Впрочем, сделал свою работу, собака убежала как будто с облегчением, как будто она пошутила. Вскоре опять лес оглашался ее лаем.

Нашел два старых, больших, ноздреватых, как бывшие прежде сыры, белых гриба. Раз-

резал их, как режут шоколадное масло (?), принес домой, уложил на печку. Пора сматывать удочки. В самом буквальном смысле.

Утром сходил в лучшее грибное место — пусто. Паутинки паучками настрожены, паучьи сети расставлены, в палитре осени появилась эта серебрястая аппликация, с перлами росы.

Грибы сей год не взошли, наверное, их остановил заморозок в ночь на 31 августа. Зачем, кому это было надо?

Вчера передавали по радио рассказ Шукшина «Крепкий мужик» — так крепко не писывал и Чехов. Все сказано в коротких словах — о нашем прошлом, настоящем, о нашем человеке, характере, об общественном настроении, образе жизни, семье. Да слова-то какие найдены! А ведь мы ничего не знаем про Шукшина. То есть знаем: был Вася Шукшин, сельский парень с Алтая, служил на флоте, приехал в Москву, выучился на режиссера, актера, пописывал рассказы... Но мы не знаем духовного мира, Шукшина, его внутренней биографии. Он ни разу нам не раскрылся. А может быть, и сам не знал?

Сегодня утром встал рано, истопил печку, поел рису с малиновым вареньем, постучал на пишущей машинке, ободрял себя тем, что надо больше брать на себя, не бояться жизни и т. д.

Пошел в лес, вступил в чистые боры, с благоговением поклонился первому грибу, он оказался единственным. Собака облаивала то одну елку с белкой, то другую, опять обкусывала сучки на елках, подвывала. Я знаю одного охотника (может быть, все такие?) — он каждую облаиваемую белку убивал, хотя белки не выкунели, — чтобы не испортить собаку, то есть не подорвать в ней доверия к охотнику.

Вечером сварил последки макарон, разделил пополам с собакой. Днем варил грибной супешник, вышло дьявольски вкусно. Пора уезжать, а как быть с собакой? Мне уже передавали: егерь предупредил: «Если Горышин бросит собаку, я его оштрафую на 40 рублей». Ну ладно, штраф заплачу, а собака?!

Плыли с Татьяной, Левиной женой, на их лодке в Корбеничи, Татьяна за хлебом, за молоком. Собака Песси, в ошейнике, сделанном из моего ремня, с поводком, сидела на носу, маялась морской (озерной) болезнью.

В Корбеничах привел собаку к Жихареву: — Володя, возьми собаку, по белке работает — первый класс. Белки нынче — навалом.

— Да ты чё, Глеб Александрович, она же у Белякова курей передавала, ее же не перевоспитаешь. И у меня свой Матрос.

В Усть-Капше наведлся к Текляшевым. Ивана не было дома. Маленькая Маша замахала руками:

— Не надо, не надо и не надо! Эвон с нашей Ритой не знаем, чё поделатъ, такая прожорливая.

В Харагеничах заглянул к Игорю Большакову, безо всякой надежды, так, по пути:

— Игорек, никто из ваших пса не возьмет? Цены ей нет, такая охотница.

— Что, сучка? Это дело хуже. И у нас все особаченные. Вы в Пашозере попытайте, оттуда, помню, спрашивали насчет пса.

Короткий осенний день все больше нахмурился. Из низкого неба сочился дождь. Собака Песси лежала на заднем сидении моей машины (машина простояла лето у избы Ивана Текляшева), понимала, что решается ее судьба, не выказывала признаков нетерпения, только поднимала голову, когда приходили ее смотреть. Да и умаялась от плавания и езды.

Пашозеро я проехал ходом, свернул в деревню Чогу, отпер замок в избе, на берегу одноименной речки, пустил собаку в избу. То есть сначала привязал ее к изгороди, чтобы выгулялась, после в избу. Взял топор, порубил рухнувшую изгородь, затопил в избе железную круглую печку. Принес трехлитровую банку сливового сока с мякотью, купленную по дороге, предложил собаке подкрепиться этим нектаром (и сам подкрепился). Собака сунула нос в миску, отошла в сторону, посмотрела на меня с обидой. Вот ведь, малину ест за милую душу, а сливой побрезговала.

Изда-то в Чоге моя, мной купленная в совхозе у Соболя. Третья моя изба. Как ни крути, а в брошенной деревне жить скучно. Чога — пока живая.

Постучали в дверь:

— Можно к вам? Это я, ваш сосед, Михалевич Дмитрий Семенович, доктор технических наук. Мы с вами встречались у Игоря Большакова, помните?

— Помню, помню, как же.

— Прошу пожаловать к нам на ужин.

— Покорно благодарю.

Жена доктора наук подала на стол большую сковородку с жареным мясом.

— Извините, — повинился доктор наук, — позавчера я убил медведя. Это — медвежатина.

Поели медвежатины. Речь зашла о моей собаке.

— А мы уже все знаем про вашу собаку, — сказал Дмитрий Семенович. — И хозяина ей нашли. Хороший парень Валера, сантехник.

Медвежатины хватило и нам, и собаке Песси. Ночью она долго пережевывала медвежье мясо, впервые в жизни. Дай ей Бог не в последний раз.

Я тоже не спал, лежал на разостланном на полу плаще, грел ноги о печь.

Утром приехал сантехник Валера, на мотоцикле с коляской. Я описал ему все превосходные качества его будущей собаки.

— А что, сучка? — спросил Валера.

Отрицать этот факт я, естественно, не мог.

— Я думал, кобель, — сказал Валера. В избе повисло молчание.

Я пережил примерно вот что: когда-то, бывало, снесешь рассказ в журнал и ждешь: возьмут, не возьмут. Хотя тогда так остро не переживалось.

Валера молча снял с шеи собаки мой самодельный ошейник, надел свой, приготовленный, вывел собаку на поводке, усадил в коляску и...

Теперь что же? Теперь до нового лета.



Глеб Александрович ГОРЫШИН родился в 1931 году в Ленинграде. В 1954 году окончил филологический факультет Ленинградского университета. Работал в газете «Молодежь Алтая», в геологических экспедициях Кольского полуострова, Алтая, Дальнего Востока. Первая книга рассказов «Хлеб и соль» вышла в 1958 году. Автор более 30 книг и рассказов, повестей, очерков. Член Союза писателей с 1960 года. Живет в Санкт-Петербурге.

ЛУНА ЗАПУТАЛАСЬ В БЕРЕЗЕ

Записи одного лета

Шумы, деревня: четыре двора, двое ворот, одна труба!

Пословица

Как все долго живущие люди, я пережил утрату отца, матери, родных и близких друзей. И еще я увидел, как умерли две деревни; душа моя причастна к их последнему вздоху.

В середине семидесятых годов я купил избу в деревне Березове Поддорского района Новгородской области, на берегу Ловати. Деревня уже дышала на ладан. На второе лето сельского благоденствия, когда подошли ягоды-грибы, в Ловати гуляли окуни с язями, последних жихарей — бабу Катю и бабу Дуню — усадили в кабину грузовика с возом сена; долго было видно, как култыкается в заовражье копка. Это была последняя ездка; след зарос, вокруг стал тихо.

Когда я приехал спустя зиму в пустую деревню, нашел свою избу с выбитыми стеклами, сорванной дверью; русскую печь раскололи, должно быть, ломом, что-то искали; полы выворотили.

Сидя по утрам на крыльчке избы, куда деревня не померла, я записывал то, что видел и думал. Как назвать мой жанр? Не знаю... Для себя зову «записями», а для печати лучше «документальная повесть». Сложил мои записи — о последних днях деревни Березове, соседних: Раково, Осетище, Гора, Ракитно — в документальную повесть «Вниз по Ловати» — принес ее в журнал «Октябрь» Ананьеву, полагаясь на некоторые права знакомства с главным редактором «по писательской линии». Ананьев быстро прочел, заверил меня с полной ответственностью: «Это нигде не напечатают. Сейчас патриархальщина не проходит» (дело было при Андропове). Так и вышло. Впоследствии «Вниз по Ловати» я включил в сборник «Весенняя охота на боровую дичь», он вышел в издательстве «Современник».

В восьмидесятом году я купил избу в деревне Нюрговичи Тихвинского района Ленинградской области, на Вепсовской возвышенности, над Капшозером. Деревня умирала замед-

ленно, в течение десяти лет. Последним из нее уехал дед Федор Иванович Торяков, вепс, 1901 года рождения. Я шел по лесной дороге, мне навстречу попался трактор с санями, грузенными сеном. В кабине сидел дед Федор. Тракторист остановился, дед протянул мне руку, я ее пожал. Мы что-то сказали друг другу, но за ревом трактора ничего не услышали.

У избы деда Федора, с заколоченными окнами, сидел дедов пес Малыш — не поверил, что ушли насовсем, ночью выл, утром прибежал ко мне в избу спросить: как же так? почему? Я объяснил псу, как смог, но он не понял.

Все увиденное, передуманное за десять лет в Нюрговичах я собрал в книгу «Гора и Берег» — ее тоже выпустил «Современник».

После того как из деревни Нюрговичи съехал ее последний исконный обитатель, я нашел свою избу со взломанной дверью (за десять лет жизни никто ни разу не посягнул); в избе взяли электрический счетчик, пилу, удочку, бритву, брезентуху и, что особенно жалко, швабру — я привез сей инструмент чистоты из Ленинграда, очень ею дорожил.

В некоторых избах крестьян-вепсов поселились их новые хозяева дачники-горожане.

Живя лето в брошенной деревне, я предавался тому самому делу, которому отдал всю жизнь: записыванию с природы. Тем лечился от широко распространенной нынче болезни — ипохондрии. Как увидим ниже, и вылечился.

Полдень. Жарко. Тряс сено. Читал про то, какие хорошие были Шмелев Иван и Зайцев Борис — хрустальные, прозрачные, такие раскрытые, что, кажется, их даже похоронили в незаколоченных гробах. И так они преданы были России, так сочувствовали — один Человеку из ресторана, гордой русской душе, другой — умирающему мальчику: «ножки стынут»... И я тоже сочувствую... но опустевшая деревня Нюрговичи, вновь заселенная кем-то, действует на